



Лев Давидович Троцкий

Моя жизнь

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=177739

Л. Троцкий Моя Жизнь. Опыт автобиографии:

Аннотация

Книга Льва Троцкого «Моя жизнь» – незаурядное литературное произведение, подводящее итог деятельности этого поистине выдающегося человека и политика в стране, которую он покинул в 1929 году. В ней представлен жизненный путь автора – от детства до высылки из СССР.

"По числу поворотов, неожиданностей, острых конфликтов, подъемов и спусков, – пишет Троцкий в предисловии, – можно сказать, что моя жизнь изобилвала приключениями... Между тем я не имею ничего общего с искателями приключений». Если вспомнить при этом, что сам Бернард Шоу называл Троцкого «королем памфлетистов», то станет ясно, что «опыт автобиографии» Троцкого – это яркое, увлекательное, драматичное повествование не только свидетеля, но и прямого «созидателя» истории XX века.

Содержание

Том 1	4
ПРЕДИСЛОВИЕ	4
Глава I. ЯНОВКА	9
Глава II. СОСЕДИ. ПЕРВАЯ ШКОЛА	22
Глава III. СЕМЬЯ И ШКОЛА	30
Глава IV. КНИГИ И ПЕРВЫЕ КОНФЛИКТЫ	40
Глава V. ДЕРЕВНЯ И ГОРОД	50
Глава VI. ПЕРЕЛОМ	57
Глава VII. МОЯ ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	63
Глава VIII. МОИ ПЕРВЫЕ ТЮРЬМЫ	69
Глава IX. ПЕРВАЯ ССЫЛКА	74
Глава X. ПЕРВЫЙ ПОБЕГ	79
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Лев Троцкий

Моя жизнь

Том 1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Наше время снова обильно мемуарами, может быть, более, чем когда-либо. Это потому, что есть о чем рассказывать. Интерес к текущей истории тем напряженнее, чем драматичнее эпоха, чем богаче она поворотами. Искусство пейзажа не могло бы родиться в Сахаре. «Пересеченные» эпохи, как наша, порождают потребность взглянуть на вчерашний и уже столь далекий день глазами его активных участников. В этом – объяснение огромного развития мемуарной литературы со времени последней войны. Может быть, в этом же можно найти оправдание и для настоящей книги.

Сама возможность появления ее в свет создана паузой в активной политической деятельности автора. Одним из непредвиденных, хотя и не случайных этапов моей жизни оказался Константинополь. Здесь я нахожусь на бивуаке – не в первый раз, терпеливо дожидаясь, что будет дальше. Без некоторой доли «фатализма» жизнь революционера была бы вообще невозможна. Так или иначе, константинопольский антракт явился как нельзя более подходящим моментом, чтобы оглянуться назад, прежде чем обстоятельства позволят двинуться вперед.

Первоначально я написал беглые автобиографические очерки для газет и думал этим ограничиться. Отмечу тут же, что я не имел возможности следить из своего убежища за тем, в каком виде эти очерки дошли до читателя. Но каждая работа имеет свою логику. Я вошел в свою тему лишь к тому моменту, когда заканчивал газетные статьи. Тогда я решил написать книгу. Я взял другой, несравненно более широкий масштаб и произвел всю работу заново. Между первоначальными газетными статьями и этой книгой общим является только то, что они говорят об одном и том же предмете. В остальном это два разных произведения.

С особенной обстоятельностью я остановился на втором периоде советской революции, начало которого совпадает с болезнью Ленина и открытием кампании против «троцкизма». Борьба эпигонов за власть, как я пытаюсь показать, была не только личной борьбой. Она выражала собою новую политическую главу: реакцию против Октября и подготовку термидора. Из этого сам собою вытекает ответ на вопрос, который так часто задавали мне: «Как вы потеряли власть?»

Автобиография революционного политика затрагивает по необходимости целый ряд теоретических вопросов, связанных с общественным развитием России, отчасти и всего человечества, в особенности же с теми критическими периодами, которые называются революциями. Разумеется, я не имел возможности рассматривать на этих страницах сложные теоретические проблемы по существу. В частности, так называемая теория перманентной революции, которая играла в моей личной жизни такую большую роль и которая, что важнее, приобретает теперь столь острую актуальность для стран Востока, проходит через эту книгу как отдаленный лейтмотив. Если это не удовлетворит читателя, то я могу лишь сказать ему, что рассмотрение проблем революции по существу составит содержание особой книги, в которой я попытаюсь подвести важнейшие теоретические итоги опыта последних десятилетий.

* * *

Так как на страницах моей книги проходит немалое количество лиц не всегда в том освещении, которое они сами выбрали бы для себя или для своей партии, то многие из них найдут мое изложение лишенным необходимой объективности. Уже появление отрывков в периодической печати вызвало кое-какие опровержения. Это неизбежно. Можно не сомневаться, что, если б мне удалось даже сделать автобиографию простым дагерротипом моей жизни, к чему я вовсе не стремился, — она все равно вызвала бы отголоски тех прений, которые порождались в свое время излагаемыми в ней коллизиями. Но эта книга не бесстрастная фотография моей жизни, а ее составная часть. На этих страницах я продолжаю ту борьбу, которой посвящена вся моя жизнь. Излагая, я характеризую и оцениваю; рассказывая, я защищаюсь и еще чаще — нападаю. Мне думается, что это единственный способ сделать биографию объективной в некотором более высоком смысле, т. е. сделать ее наиболее адекватным выражением лица, условий и эпохи.

Объективность — не в притворном безразличии, с каким хорошо отстоявшееся лицемерие говорит о друзьях и врагах, внушая читателю косвенно то, что неудобно сказать ему прямо. Такого рода объективность есть лишь светская ловушка, не более того. Мне она не нужна. Раз уж я подчинился необходимости говорить о себе — никому еще не удавалось написать автобиографию, не говоря о себе, — то у меня не может быть оснований скрывать свои симпатии и антипатии, свою любовь и свою ненависть.

Эта книга полемична. Она отражает динамику той общественной жизни, которая вся построена на противоречиях. Дерзости школьника учителю; прикрытые любезностью салонные шпильки зависти; непрерывная конкуренция торговли; остервенелое соревнование на всех поприщах техники, науки, искусства, спорта; парламентские стычки, в которых пульсирует глубокая противоположность интересов; повседневная неистовая борьба печати; стачки рабочих; расстрелы демонстрантов; пироксилиновые чемоданы, посылаемые по воздуху цивилизованными соседями друг другу; пламенные языки гражданской войны, почти не потухающие на нашей планете, — все это разные формы социальной «poleмики», от обыденной, повседневной, нормальной, почти незаметной, несмотря на свою напряженность, — до чрезвычайной, взрывчатой, вулканической poleмики войн и революций. Такова наша эпоха. С ней вместе мы выросли. Ею мы дышим и живем. Как же мы можем не быть полемичны, если хотим быть верны нашему отечеству во времени?

* * *

Но есть другой, более элементарный критерий, который касается простой добросовестности в изложении фактов. Как самая непримиримая революционная борьба должна считаться с обстоятельствами места и времени, так и наиболее полемическое произведение должно соблюдать те пропорции, которые существуют между вещами и людьми. Хочу надеяться, что это требование мною соблюдено не только в целом, но и в частях.

В некоторых, немногочисленных, правда, случаях я излагаю беседы в форме диалога. Никто не станет требовать дословного воспроизведения бесед много лет спустя. Я на это и не претендую. Некоторые диалоги имеют скорее символический характер. Но у всякого человека в жизни были моменты, когда тот или другой разговор особенно ярко врезывался в его память. Такие беседы обыкновенно пересказываешь не раз своим близким и политическим друзьям. Благодаря этому они закрепляются в памяти. Я имею в виду, разумеется, прежде всего беседы политического характера.

Хочу отметить здесь, что я привык доверять своей памяти. Показания ее не раз подвергались объективной проверке и с успехом выдерживали ее. Здесь необходима, впрочем, оговорка. Если моя топографическая память, не говоря уж о музыкальной, очень слаба, а зрительная, как и лингвистическая, довольно посредственна, то идейная память значительно выше среднего уровня. Между тем в этой книге идеи, их развитие и борьба людей из-за этих идей занимают, в сущности, главное место.

Правда, память не автоматический счетчик. Она меньше всего бескорыстна. Нередко она выталкивает из себя или отодвигает в темный угол такие эпизоды, какие невыгодны контролирующему ее жизненному инстинкту, чаще всего под углом зрения самолюбия. Но это уж дело «психоаналитической» критики, которая иногда бывает остроумна и поучительна, но еще чаще — капризна и произвольна.

Незачем говорить, что я настойчиво контролировал свою память через посредство документальных свидетельств. Как ни затруднены были для меня условия работы, в смысле библиотечных и архивных справок, я имел все же возможность проверить все наиболее существенные обстоятельства и даты, в которых нуждался.

Начиная с 1897 г. я вел борьбу преимущественно с пером в руках. Таким образом, события моей жизни оставили почти непрерывный печатный след на протяжении 32 лет. Фракционная борьба в партии, начиная с 1903 г., была обильна личными эпизодами. Мои противники, как и я, не щадили ударов. Все они оставили печатные рубцы. Со времени октябрьского переворота история революционного движения заняла большое место в исследованиях молодых советских ученых и целых учреждений. Разыскивается в архивах революции и царского департамента полиции все, что представляет интерес, и издается с обстоятельными фактическими комментариями. В первые годы, когда еще не было нужды что-либо скрывать или маскировать, эта работа производилась с полной добросовестностью. «Сочинения» Ленина и часть моих выпущены государственным издательством с примечаниями, занимающими десятки страниц в каждом томе и заключающими незаменимый фактический материал как о деятельности авторов, так и о событиях соответственного периода.

Все это, естественно, облегчало мою работу, помогая установить правильную хронологическую канву и избежать фактических ошибок, по крайней мере грубых.

* * *

Я не могу отрицать того, что моя жизнь протекала не совсем обычным порядком. Причины этого надо, однако, искать больше в условиях эпохи, чем лично во мне. Разумеется, нужны были также и известные личные черты, чтобы выполнять ту, хорошую или дурную, работу, которую я выполнял. Но при других исторических условиях эти личные особенности могли бы мирно дремать, как дремлет бесчисленное количество человеческих склонностей и страстей, на которые общественная обстановка не предъявляет спроса. Зато могли бы, может быть, проявиться другие качества, которые оттеснены или подавлены ныне. Над субъективным возвышается объективное, и оно в последнем счете решает.

Моя сознательная и активная деятельность, начавшаяся примерно с 17 – 18-летнего возраста, протекала в постоянной борьбе за определенные идеи. В моей личной жизни не было никаких событий, которые сами по себе заслуживали бы общественного внимания. Все сколько-нибудь из ряда выходящие факты моего прошлого связаны с революционной борьбой и от нее получают свое значение. Только это обстоятельство и может оправдать появление в свет моей автобиографии.

Но из этого же источника вытекают и затруднения для автора. Факты личной жизни оказались настолько тесно вплетены в ткань исторических событий, что трудно отделить одно от другого. Между тем эта книга все же не исторический труд. События взяты не

по их объективной значимости, а в зависимости от того, как они были связаны с фактами личной жизни. Не мудрено, если в характеристике отдельных событий и целых этапов нет той пропорциональности, которой должно было бы требовать, если бы книга представляла собою исторический труд. Водораздел между автобиографией и историей революции приходилось нащупывать эмпирически. Не растворяя жизнеописания в историческом исследовании, необходимо, однако, было дать читателю опору в фактах общественного развития. Я исходил при этом из того, что основные контуры больших событий известны читателю, и что его память нуждается только в кратких напоминаниях об исторических фактах и об их последовательности.

* * *

К моменту выхода в свет этой книги мне исполнится 50 лет. День моего рождения совпадает с днем октябрьской революции. Мистики и пифагорейцы могут из этого делать какие угодно выводы. Сам я заметил это курьезное совпадение только через три года после октябрьского переворота. До 9 лет я жил безвыездно в глухой деревне. Восемь лет учился в средней школе. Арестован был в первый раз через год после окончания ее. Университетами служили для меня, как и для многих моих сверстников, тюрьма, ссылка, эмиграция. В царских тюрьмах я сидел в два приема около четырех лет. В царской ссылке провел первый раз около 2-х лет, второй раз – несколько недель. Дважды бежал из Сибири. В эмиграции прожил в два приема около 12 лет в разных странах Европы и Америки, два года до революции 1905 г. и почти десять лет после ее разгрома. Во время войны был заочно приговорен к тюремному заключению в гогенцоллернской Германии (1915 г.); был в следующем году выслан из Франции в Испанию, где после короткого заключения в мадридской тюрьме и месячного пребывания под надзором полиции в Кадиксе был выслан в Америку. Там меня застигла февральская революция. По дороге из Нью-Йорка я был в марте 1917 г. арестован англичанами и содержался месяц в концентрационном лагере в Канаде. Я участвовал в революциях 1905 и 1917 гг., был председателем Петербургского Совета депутатов в 1905 г., затем в 1917 г. Я принимал близкое участие в октябрьском перевороте и был членом советского правительства. В качестве народного комиссара по иностранным делам вел мирные переговоры в Брест-Литовске с делегациями Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии. В качестве народного комиссара по военным и морским делам я посвятил около пяти лет организации красной армии и восстановлению красного флота. В течение 1920 г. я соединял с этим руководство расстроеной железнодорожной сетью.

Главное содержание моей жизни – за вычетом годов гражданской войны – составляла, однако, партийная и писательская деятельность. Государственное издательство приступило в 1923 г. к изданию собрания моих сочинений. Оно успело выпустить тринадцать книг, не считая вышедших ранее пяти томов военных работ. Издание было приостановлено в 1927 г., когда гонения против «троцкизма» стали особенно ожесточенными.

В январе 1928 г. я был отправлен нынешним советским правительством в ссылку, провел год на границе Китая, был в феврале 1929 г. выслан в Турцию, пишу эти строки в Константинополе.

Даже в этом конспективном изложении внешнее течение моей жизни никак нельзя назвать монотонным. Наоборот, по числу поворотов, неожиданностей, острых конфликтов, подъемов и спусков можно сказать, что жизнь моя скорее изобиловала «приключениями». Между тем позволю себе сказать, что по склонности я не имею ничего общего с искателями приключений. Я скорее педантичен и консервативен в своих привычках. Я люблю и ценю дисциплину и систему. Совсем не ради парадокса, а потому, что так оно и есть, я должен сказать, что не выношу беспорядка и разрушения. Я был всегда очень прилежным и аккурат-

ным школьником. Эти два качества я сохранил и в дальнейшей жизни. В годы гражданской войны, когда я в своем поезде покрыл расстояние, равное нескольким экваторам, я радовался каждому новому забору из свежих сосновых досок. Ленин, знавший об этом моем пристрастии, не раз дружески подтрунивал над ним. Хорошо написанная книга, в которой можно найти новые мысли, и хорошее перо, при помощи которого можно сообщить собственные мысли другим, всегда были для меня – остаются и сейчас – самыми ценными и близкими плодами культуры. Стремление учиться никогда не покидало меня, и у меня много раз в жизни бывало такое чувство, что революция мешает мне работать систематически. Тем не менее почти треть столетия моей сознательной жизни целиком заполнена революционной борьбой, и если б мне пришлось начинать сначала, я не задумываясь пошел бы по тому же пути.

Мне приходится писать эти строки в эмиграции, третьей по счету, в то время, как ближайшие мои друзья заполняют места ссылки и тюрьмы советской республики, в создании которой они принимали решающее участие. Некоторые из них колеблются, отходят, склоняются перед противником. Одни потому, что морально израсходовались; другие потому, что не находят самостоятельно выхода из лабиринта обстоятельств; третьи – под гнетом материальных репрессий. Я два раза уже пережил такие массовые отходы от знамени: после крушения революции 1905 г. и в начале мировой войны. Я достаточно близко знаю, таким образом, из жизненного опыта, что такое исторические приливы и отливы. Они подчинены своей закономерности. Голым нетерпением не ускоришь их смены. Историческую перспективу я привык рассматривать не под углом зрения личной судьбы. Познать закономерность совершающегося и найти в этой закономерности свое место – такова первая обязанность революционера. И таково вместе с тем высшее личное удовлетворение, доступное человеку, который не растворяет своих задач в сегодняшнем дне.

Принкипо, 14 сентября 1929 г.

Л. ТРОЦКИЙ

Глава I. ЯНОВКА

Детство слывет самой счастливой порой жизни. Всегда ли так? Нет, счастливо детство немногих. Идеализация детства ведет свою родословную от старой литературы привилегированных. Обеспеченное, избыточное, безоблачное детство в наследственно богатых и просвещенных семьях, среди ласк и игр оставалось в памяти, как залитая солнцем поляна в начале жизненного пути. Вельможи в литературе или плебеи, воспевавшие вельмож, канонизировали эту насквозь аристократическую оценку детства. Подавляющее большинство людей, поскольку оно вообще оглядывается назад, видит, наоборот, темное, голодное, зависимое детство. Жизнь бьет по слабым, а кто же слабее детей?

Мое детство не было детством голода и холода. Ко времени моего рождения родительская семья уже знала достаток. Но это был суровый достаток людей, поднимающихся из нужды вверх и не желающих останавливаться на полдороге. Все мускулы были напряжены, все помыслы направлены на труд и накопление. В этом обиходе детям доставалось скромное место. Мы не знали нужды, но мы не знали и щедростей жизни, ее ласк. Мое детство не представляется мне ни солнечной поляной, как у маленького меньшинства, ни мрачной пещерой голода, насилий и обид, как детство многих, как детство большинства. Это было сероватое детство в мелкобуржуазной семье, в деревне, в глухом углу, где природа широка, а нравы, взгляды, интересы скудны и узки.

Духовная атмосфера, окружавшая мои ранние годы, и та, в которой прошла моя дальнейшая сознательная жизнь, — это два разных мира, отделенные друг от друга не только десятилетиями и странами, но и горными хребтами великих событий, и менее заметными, но для отдельного человека не менее значительными внутренними обвалами. При первом наброске этих воспоминаний мне не раз казалось, будто я описываю не свое детство, а старое путешествие по далекой стране. Я пытался даже вести рассказ о себе в третьем лице. Но эта условная форма слишком легко сбивается на беллетристику, т. е. на то, чего я прежде всего хотел бы избежать.

Несмотря на противоречие двух миров, единство личности переходит какими-то подспудными путями из одного в другой. Этим и объясняется, вообще говоря, интерес к биографиям и автобиографиям людей, которые по той или иной причине заняли несколько более пространное место в жизни общества. Я попробую поэтому с некоторой подробностью рассказать о своем детстве и своих школьных годах, ничего не предугадывая и не предreshая, т. е. не нанизывая факты на предвзятые обобщения, — просто так, как это было и как сохранила прошлое моя память.

Иногда мне казалось, что я помню, как сосал грудь матери. Надо думать, однако, что я просто перенес на себя то, что видел на младших детях. У меня были смутные воспоминания о какой-то сцене под яблоней в саду, которая разыгралась, когда мне было года полтора. Но и это воспоминание недостоверно. Наиболее твердо осталось в памяти такое происшествие: я с матерью в Бобринце, в семье Ц., где есть девочка двух или трех лет. Меня называют женихом, девочку — невестой. Дети играют в зале на крашеном полу, потом девочка исчезает, а маленький мальчик стоит один у комода, он переживает момент ошарашивания, как во сне. Входит мать с хозяйкой. Мать смотрит на мальчика, потом на лужицу возле него, потом опять на мальчика, качает укоризненно головой и говорит: «Как тебе не стыдно»... Мальчик смотрит на мать, на себя и затем на лужицу, как на нечто ему совершенно постороннее. «Ничего, ничего, — говорит хозяйка, — дети заигрались».

Маленький мальчик не испытывает ни стыда, ни раскаяния. Сколько ему тогда было? Должно быть, два года, но, может быть, и три.

Около того же времени я наткнулся на гадюку, гуляя с няней в саду. «Гляди, Лева, – сказала няня, показывая что-то блестящее в траве, – табачница зарыта в земле». Няня взяла палочку и стала раскапывать. Самой няне вряд ли было больше шестнадцати лет. Табачница развернулась, вытянулась в змею и с шипением поползла по траве. «Ай! ай!» – вскричала няня и, схватив меня за руку, быстро побежала прочь. Мне было трудно переставлять быстро ноги. Захлебываясь, я рассказывал потом, как мы думали, что нашли в траве табачницу, а оказалась гадюка.

Вспоминается еще ранняя сцена на «белой» кухне. Ни отца, ни матери дома нет. В кухне, кроме прислуги и кухарки, их гости. Старший брат, Александр, приехавший на каникулы, вертится тут же. Он становится обеими ногами на деревянную лопату, как на ходули, и долго пляшет на ней по земляному полу кухни. Я прошу брата уступить мне лопату, делаю попытку взобраться на нее, падаю и плачу. Брат поднимает меня, целует и на руках уносит из кухни.

Мне, должно быть, было уже года четыре, когда кто-то посадил меня на большую серую кобылу, смирную, как овца, без седла и без уздечки, только с веревочным недоуздом. Широко раскорячив ноги, я обеими руками держался за гриву. Кобыла тихо подвезла меня к грушевому дереву и прошла под веткой, которая пришлась мне по животу. Не понимая, что это значит, я съезжал по крупу вниз, пока не шлепнулся в траву. Больно не было, но было непостижимо.

Покупных игрушек я в детстве почти не имел. Раз только из Харькова мать привезла мне бумажную лошадку и мяч. С младшей сестрой я играл в самодельные куклы. Однажды тетя Феня и тетя Раиса, сестры отца, сделали нам несколько кукол из тряпочек, и тетя Феня навела карандашом глаза, рот и нос. Куклы казались необыкновенными, я помню их и сейчас. В один из зимних вечеров Иван Васильевич, наш машинист, вырезал и склеил из картона вагон с окнами и на колесах. Старший брат, приехавший на Рождество, сразу заявил, что сделать такой вагон можно в два счета. Он начал с того, что расклеил мой вагон, вооружился линейкой, карандашом и ножницами, долго чертил, а когда по чертежу отрезал, то вагон у него не сошелся.

Отъезжавшие в город родственники и знакомые не раз спрашивали меня: чего тебе привезти из Елизаветграда или Николаева? У меня разгорались глаза. Чего бы попросить? Мне приходили на помощь. Кто предлагал лошадку, кто книжки, кто цветные карандаши, а кто коньки. "Коньки «полугалифакс», – говорю я, так как слышал это название от брата. Те, что обещали, забывали о своем обещании, едва переступив порог. А я несколько недель жил надеждой, а потом долго томился разочарованием.

В палисаднике на подсолнух села пчела. Так как пчелы кусаются и нужна осторожность, то я срываю лист лопуха и через этот лист схватываю пчелу двумя пальцами. Меня пронизывает неожиданная и невыносимая боль. С воплем я бегу через двор в мастерскую, к Ивану Васильевичу. Он вынимает жало и смазывает палец спасительной жидкостью.

У Ивана Васильевича была банка, в которой тарантулы плавали в подсолнечном масле. Считалось, что это самое надежное средство от укусов. Тарантулов я ловил вместе с Витей Гертопановым. Для этой цели на нитке укреплялся кусочек воска и спускался в норку. Тарантул вцепляется в воск всеми лапами и влипает. Дальше остается только захватить его в пустую спичечную коробку. Впрочем, охота на тарантулов относится, должно быть, к более позднему времени.

Вспоминаю разговор старших, за долгим зимним вечерним чаем, о том, как и когда купили Яновку, сколько кому из детей было тогда лет и когда на службу поступил Иван Васильевич. Мать говорит: «А Леву перевезли с хутора уже готовенького», – и поглядывает лукаво на меня. Я умозакключаю про себя, а затем говорю вслух: «Значит, я родился на хуторе?..». «Нет, – говорят мне, – ты родился уже здесь, в Яновке».

«А как же мама говорит, что меня привезли готовеньким?»...

«Это мама так себе сказала, пошутила»... Я не удовлетворен и размышляю, что это странная шутка, но умолкаю, потому что на лицах старших вижу ту особую улыбку посвященных, которой очень не люблю. Из этих воспоминаний за зимним чаем, когда никто никуда не спешит, вытекает хронология. Родился я в октябре, 26-го. Стало быть, в Яновку родители мои переехали с хутора весною или летом 1879 г.

Год моего рождения был годом первых динамитных ударов по царизму. Незадолго перед тем возникшая террористическая партия «Народная воля» вынесла 26 августа 1879 г. — за два месяца до моего появления на свет — смертный приговор Александру II. 19 ноября уже произведено было динамитное покушение на царский поезд. Начиналась грозная борьба, которая привела 1 марта 1881 г. к убийству Александра II, но в то же время и к гибели самой «Народной воли».

За год перед тем закончилась русско-турецкая война. В августе 1879 г. Бисмарк заложил основания австро-германского союза. Золя выпустил в этом году роман, где будущий организатор Антанты, тогдашний принц Уэльский, выведен в качестве тонкого ценителя опереточных певиц («Нана»). Ветер реакции, усилившийся в европейской политике со времени франко-прусской войны и разгрома Парижской коммуны, еще не ослабевал. В Германии социал-демократия уже подпала под исключительные законы Бисмарка. Виктор Гюго и Луи Блан в 1879 г. внесли во Французскую палату требование амнистии коммунарам.

Но ни парламентские дебаты, ни дипломатические акты, ни даже динамитные взрывы не доносили своих отголосков до деревни Яновки, в которой я увидел свет и провел первые девять лет своей жизни. На необъятных степях Херсонской губернии и всей Новороссии жило особыми законами царство пшеницы и овец. Оно было прочно ограждено от вторжения политики своими пространствами и отсутствием дорог. Многочисленные степные курганы остались здесь как вехи великого переселения народов.

Отец мой был земледельцем, сперва мелким, затем более крупным. Мальчиком он покинул со своей семьей еврейское местечко в Полтавской губернии, чтоб искать счастья на вольных степях Юга. В Херсонской и Екатеринославской губерниях имелось в те годы около сорока еврейских земледельческих колоний с населением около 25 000 душ. Еврей-земледельцы были уравнены с крестьянами не только в правах (до 1881 г.), но и в бедности. Неутомимым, жестоким, беспощадным к себе и к другим трудом первоначального накопления отец мой поднимался вверх.

Метрическая книга велась в колонии Громоклей не очень исправно. Много записывалось задним числом.

Когда понадобилось мне поступить в среднее учебное заведение и оказалось, что я не вышел еще годами для первого класса, то в метриках перенесли мое рождение с 1879-го на 1878 год. Поэтому годам моим велся всегда двойной счет: официальный и семейный.

Первые девять лет своей жизни я почти не высывал носа из отцовской деревни. Звалась она Яновкою — по имени помещика Яновского, у которого была куплена земля. Старик Яновский вышел в полковники из рядовых, попал к начальству в милость при Александре II и получил на выбор 500 десятин в еще не заселенных степях Херсонской губернии. Он построил в степи землянку, крытую соломой, и такие же незамысловатые надворные строения. С хозяйством у него, однако, не пошло. После смерти полковника семья его поселилась в Полтаве. Отец купил у Яновского свыше 100 десятин да десятин 200 держал в аренде. Полковницу, сухонькую старушку, помню твердо: она приезжала не то раз, не то дважды в год получать арендную плату за землю и поглядеть, все ли на месте. За ней посылали лошадей на вокзал и к подъезду выносили стул, чтобы легче было ей сойти с рессорного фургона. Фаэтон у отца появился лишь позже, когда завелись и выездные жеребцы. Старушке полковнице варили бульон из курицы и яички всмятку. Гуляя с сестрой моей по саду, полковница

отдирала сухонькими ноготками со стволов застывшую древесную смолу и уверяла, что это самое лучшее лакомство.

Посевы расширялись, увеличивалось число лошадей и скота. Пробовали завести мериносовых овец, но дело не наладилось. Зато свиней было много. Они свободно ходили по двору, перерыли все окрестности и окончательно погубили сад. Хозяйство велось внимательно, но по старинке. Определить, какая отрасль давала выгоду, какая убыток, можно было лишь на глаз. По той же причине трудно было определить и размеры состояния. Все средства были всегда в земле, в колосе, в зерне, зерно лежало в закромах или передвигалось к портам. Иногда за чаем или за ужином отец вдруг вспоминал: «А ну-ка, запишите, я получил от комиссионера 1300 рублей: полковнице выслал 660, 400 отдал Дембовскому, та запишите, что Феодосии Антоновне дал 100 рублей, когда был весной в Елизаветграде». Так, примерно, велась бухгалтерия. Тем не менее отец медленно, но упорно поднимался вверх.

Жили мы в том самом земляном домике, который был построен старым полковником. Крыша была соломенной, с бесчисленными воробьиными гнездами в застрехе. Стены снаружи давали глубокие трещины, и в этих трещинах заводились ужи. Их иногда принимали за гадюк, лили в щели горячую воду из самовара, но безуспешно. В большие дожди низкие потолки протекали, особенно в сенях: на земляной пол ставили чашки и тазы. Комнаты были маленькие, окна подслеповатые, в двух спальнях и детской полы были глиняные и плодили блох. В столовой настлали дощатый пол и раз в неделю натирали его желтым песком. А в главной комнате, шагов восемь длиною, которая торжественно называлась залом, пол был крашеный. Там помещали полковницу. В палисаднике вокруг дома росли кусты желтой акации, белых и красных роз, летом вились крученые панычи. Двор не был огражден вовсе. Большое глиняное здание под черепицей, которое строил уже отец, заключало в себе: мастерскую, хозяйскую кухню и людскую. Затем шел «малый» деревянный амбар, за ним «большой» деревянный амбар, потом «новый» амбар – все под камышом. Чтоб вода не подтекала и зерно не прело, амбары возвышались на камнях. В жару и холод под ними укрывались собаки, свиньи и домашняя птица. Куры находили там укромные места для носки яиц. Я не раз извлекал оттуда куриные яйца, ползая меж камней на животе: взрослому пролезть было невозможно. На крыше большого амбара каждый год заводятся аисты. Подняв к небу свои красные клювы, они глотают ужей и лягушек, – это страшно! Тело ужа извивается из клюва и кажется, будто змей ест аиста изнутри.

В амбаре, поделенном на закрома, свежая пахучая пшеница, шероховато-колючий ячмень, плоское, скользкое, почти жидкотекущее льняное семя, черный с синевой бисер рапса, тонкий легкий овес. Когда дети играют в прятки, то разрешается, не всегда, а при почетных гостях, прятаться даже в амбарах. Перебравшись через загородку закрома, я карабкаюсь на пшеничный холм и переваливаюсь на другую его сторону. Руки по локти и ноги по колени уходят в расплывающуюся массу; в башмаки, нередко рваные, и за пазуху набивается зерно. Дверь амбара прикрыта, и на ней для виду кем-нибудь навешивается замок, только не запертый, – этого требовали правила игры. Я лежу в прохладе амбара, погруженный в зерно, вдыхаю растительную пыль и слышу, как Сеня В., или Сеня Ж., или Сеня С., или сестра Лиза, или еще кто бродят по двору, находят спрятавшихся, но никак не могут открыть меня, утопающего в свежей арнаутке.

Конюшни, коровник, свиной хлев и птичник помещались по другую сторону дома. Все это было кое-как слеplено из глины, лозы и соломы. В сотне шагов от дома торчал высоким журавлем к небу колодец. За ним – пруд, омывавший мужицкие огороды. «Греблю» (плотину) каждую весну сносило полой водой, и ее снова укрепляли: соломой, землей, навозом. На пригорке у пруда стояла мельница. Дощатый барак укрывал десятисилую паровую машину и два постава. Здесь в ранние годы моего детства мать проводила большую часть своего трудового времени. Мельница работала не только для экономии, но и на всю

округу. Крестьяне привозили зерно за 10–15 верст и платили за помол десятой мерой. В горячее время, накануне молотьбы, мельница работала 24 часа в сутки, и, когда я научился считать и писать, мне приходилось иногда взвешивать крестьянский хлеб и высчитывать, сколько причитается помолу. Когда убирали урожай, мельница закрывалась, паровик уходил на молотьбу. Впрочем, позже установлен был неподвижный двигатель, новое здание мельницы было построено из камня и черепицы, да и хозяйская землянка была заменена большим кирпичным домом под железом. Но все это произошло, когда мне подходил уже 17-й год. Во время последних своих каникул я расчислял для будущего дома пробеги между окнами и размеры дверей, но никак не мог свести концы с концами. В следующий свой приезд в деревню я видел каменный фундамент. В самом доме мне жить уже не довелось. Теперь в нем помещается советская школа...

В мельнице мужики дожидались иной раз неделями. Кто жил поближе, тот ставил мешки в очередь, а сам уезжал домой. Дальние жили на возах, а в дождь спали в самой мельнице на мешках.

У одного из помольщиков пропала уздечка. Кто-то видел, как приезжий мальчишка вертелся около чужой лошади. Кинулись обыскивать отцовский воз и в сене нашли уздечку. Отец мальчика, бородатый, угрюмый мужик, крестился на восток и клялся, что это проклятый хлопец, арестантюга, сам надумал и что он ему за это кишки выпустит. Но отцу не верили. Мужик поймал сына за шиворот, опрокинул на землю и стал стегать краденой уздечкой. Из-за спины взрослых я глядел на эту сцену. Хлопец кричал и божился, что больше не будет. Кругом угрюмо стояли дядьки, равнодушные к воплям подростка, курили сигарки и бормотали в бороды, что порет мужик с фальшью, только для вида и что надо бы отстегать заодно и отца.

За сараями и хлевами шли клуны, т. е. огромные, на десятки сажен крыши, одна камышовая, другая соломенная, поставленные прямо на землю, без стен. В клунях ссыпались холмы зерна; в дождливое или ветреное время там работали веялкой или решетом. Дальше, за клунами, находился ток, где молотили хлеб. Через балку стоял загон для скота, сложенный целиком из сухого навоза.

С полковничьей землянкой и со старым диваном в столовой связана вся моя детская жизнь. На этом диване, обложенном фанерой под красное дерево, я сидел за чаем, за обедом, за ужином, играл с сестрой в куклы, а позже и читал. В двух местах обшивка прорвана. Дыра поменьше – с того конца, где стоит кресло Ивана Васильевича, и дыра побольше – там, где сижу я, подле отца. «Пора перетянуть диван новым сукном», – говорит Иван Васильевич. «Давно пора, – отвечает мать. – Мы диван не перетягивали с того года, когда царя убили». «Та знаете, – оправдывается отец, – приедешь в этот проклятый город, туда-сюда бегаешь, извозчик кусается, та все думаешь, как поскорее вырваться назад в экономию, вот и забудешь про все покупки».

Через всю столовую проходил под низким потолком «сволок» – большое выбеленное бревно, на которое сверху клались и ставились самые различные вещи: тарелки со съестным, чтобы кошка не съела, гвозди, веревочки, книжки, баночка с чернилами, заткнутая бумажкой, ручка со старым, ржавым пером. В перьях избытка не было. Бывали недели, когда я строгал себе столовым ножом перо из дерева, чтобы срисовать лошадок из старых номеров иллюстрированной «Нивы». Вверху, под потолком, где был выступ дымохода, жила кошка. Там она выводила котят и оттуда спускала их в зубы, смелым прыжком вниз, когда становилось слишком жарко. О сволок неизменно стучались головою гости высокого роста, вставая из-за стола, и оттого вошло в обычай предупреждать гостей: «Осторожно, осторожно» – и указывать рукою вверх, под потолок.

Самым замечательным предметом в маленьком зале были клавишины, занимавшие не меньше чем четверть комнаты. Этот предмет появился уже на моей памяти. Разорившаяся

помещица, верст за пятнадцать – двадцать, переезжала в город и распродала обстановку. У нее купили диван, три венских стула и старые, разбитые клавесины, давно стоявшие в амбаре, с оборванными струнами. За клавесины заплатили шестнадцать рублей и привезли в Яновку на арбе. Когда стали разбирать их в мастерской, из-под деки вынули пару дохлых мышей. Несколько зимних недель мастерская была занята клавесинами. Иван Васильевич чистил, подклеивал, полировал, доставал струны, натягивал, настраивал. Все клавиши были восстановлены, и клавесины зазвучали в зале, хоть идрябленькими, но все же неотразимыми голосами. Иван Васильевич перевел свои чудодейственные пальцы с клапанов гармонии на клавиши клавесины и играл камаринскую, польку и «мейн либер Августин». Стала учиться музыке старшая сестра. Бренчал иногда старший брат, который в Елизаветграде несколько месяцев обучался на скрипке. Наконец и я стал по скрипичным нотам брата наигрывать на клавесинах одним пальцем. Слуха у меня не было, и любовь моя к музыке осталась слепой и беспомощной навсегда. Вот на этих-то клавесинах показывал искусство своей правой руки, пригодной для концертов, сосед наш Моисей Харитонович М-ский. Весною двор превращается в море грязи. Иван Васильевич делает для себя деревянные калоши, вернее, котурны, и я с восторгом наблюдаю из окна, как он воздымается чуть не на пол-аршина выше обычного роста. Вскоре появляется в экономии дед-шорник. Никто, по-видимому, не знает его имени. Ему свыше 80 лет. Это николаевский (Николая I) солдат. Он прослужил в армии двадцать лет. Огромный, плечистый, с белой бородой и в белых волосах, еле переставляя тяжелые ноги, он подвигается к амбару, где устроил свою походную мастерскую. «Слабы ноги стали», – жалуется дед уже лет десять. Зато руки его, пахнущие кожей, крепче клещей. Ногти как клавиши из слоновой кости, очень острые на концах.

– Хочешь, покажу тебе Москву, – говорит мне дед. Я, конечно, хочу. Дед берет меня большими пальцами под уши и поднимает вверх. Я чувствую прикосновение страшных ногтей, мне больно и обидно. Я болтаю ногами и требую спустить меня вниз.

– Не хочешь, – говорит дед, – и не надо.

Несмотря на обиду, я не отхожу.

– А ну-ка, – говорит дед, – поднимись-ка по лестнице на амбар, посмотри, что там на чердаке делается. Я чувствую уловку и колеблюсь. Оказывается, на чердаке младший мельник Константин с кухаркою Катюшей. Оба красивые, веселые, оба работяги. – А когда ты с Катюшей обвенчаешься? – спрашивает Константина хозяйка. – Да нам и так хорошо, – отвечает Константин. – Венчаться – десять рублей клади, уж лучше я Кате сапоги куплю.

После жгучего степного напряженного лета, с его трудовой кульминацией, уборкой урожая, «страдой», которая разворачивается далеко от дома, приближается ранняя осень, чтоб подвести итог году каторжного труда. Молотьба в полном разгаре. Центр жизни переносится на ток, за клунями, это с четверть версты за домом. Над током туча соломенной пыли. Барабан молотилки воет. Мельник Филипп, в очках, – на молотилке у барабана. Черная борода его покрыта серой пылью. С воза подают ему снопы, он берет их не глядя, развязывает перевязло, раздвигает сноп и пускает в барабан. Рванув охапку, барабан рычит, как собака, схватившая кость. Соломотрясы выбрасывают солому, играя ею на ходу. Сбоку, из рукава, бежит полова (мякина). Ее отвозят к стогу волоком, и я стою на дощатом его хвосте, держась за веревочные вожжи. «Гляди не упади!» – кричит отец. Но я падаю уже в десятый раз – то в солому, то в мякину. Серая туча пыли сгущается над током, барабан ревет, полова забивается за рубаху и в нос, приходится чихать. «Эй, Филипп, – легче!» – предостерегает снизу отец, когда барабан вдруг загрохочет слишком злобно. Я поднимаю волок, он вырывается всем весом, ударяет по пальцу руки. Боль такая, что все сразу исчезает из глаз. Крадучись, я отползаю в сторону, чтобы не видели, что я плачу, потом бегу домой. Мать льет на руку холодную воду и перевязывает палец. Но боль не унимается. Палец нарываят в течение нескольких мучительных дней.

Мешки с пшеницей заполняют амбары, клуны и складываются ярусами под брезентом во дворе. Хозяин сам становится нередко у решета, меж шестов, и учит, как поворачивать обод, чтобы отвеять мякину, и как потом одним коротким толчком выкинуть без остатка очищенное зерно в кучу. В клунях и под амбаром, где есть защита от ветра, вертятся веялки и кукольные отборники. Очищается зерно, готовится к рынку.

Появляются скупщики с медными сосудами и весами в аккуратных лакированных ящиках. Они делают пробу зерну, предлагают цену и суют задаток. Их принимают вежливо, угощают чаем и сдобными сухарями, но зерна им не продают. Они мелко плавают. Хозяин уже перерос эти пути торговли. У него свой комиссионер, в Николаеве. «Хай ще полежит, – отвечал отец, – зерно есть не просит». Через неделю получалось письмо из Николаева, а иногда и телеграмма: цена повысилась на пять копеек с пуда. «Вот и нашли тысячу карбованцев, – говорил хозяин, – они не валяются». Но бывало и наоборот: цены падали. Таинственные силы мирового рынка находили себе пути и в Яновку. Возвращаясь из Николаева, отец сумрачно говорил: «Кажуть, что... как ее звать... Аргентина много хлеба выкинула на сей год».

Зимой в деревне тихо. Работают по-настоящему только мельница да мастерская. Топят соломою, которую прислуги приносят огромными охапками, рассыпая ее по пути и подметая каждый раз за собою. Весело запихивать солому в печь и глядеть, как она вспыхивает. Однажды дядя Григорий застал меня и младшую сестру Олю одних в столовой, синей от угара. Я вертелся среди комнаты, не узнавая предметов, и на оклик дяди упал в глубокий обморок. В зимние дни мы часто оставались одни в доме, особенно во время отъездов отца, когда все хозяйство ложилось на мать. Иногда в сумерках мы с сестренкой сидели, прижавшись друг к другу на диване, с широко открытыми глазами и боялись шевелиться. Иногда в темную столовую входил с морозу гигант, скрипя огромными валенками, в огромной шубе, с огромным откидным воротником, с шапкой, с рукавицами на руках, с ледяшками на усах и бороде и огромным голосом говорил в темноту: «Здравствуйте». Застыв рядом в углу дивана, мы боялись ответить на приветствие. Тогда великан зажигал спичку и открывал нас в углу. Это оказывался сосед. Иногда одиночество в столовой становилось совершенно невыносимым, тогда я, несмотря на мороз, выбегал во внешние сени, открывал двери, выскакивал на камень – большой плоский камень перед порогом – и оттуда кричал в темноту: «Машка, Машка, иди в столовую, иди в столовую» – много, много раз, потому что у Машки были в это время свои дела: на кухне, в людской или в другом месте. Наконец из мельницы приходила мать, зажигалась лампа, и появлялся самовар.

Вечером мы оставались обычно в столовой, доколе не засыпали. В столовую входили и уходили, брали и приносили ключи, из-за стола отдавались распоряжения, шла подготовка к завтрашнему дню. Я, младшая сестра Оля, старшая – Лиза и отчасти и горничная жили в эти часы своей жизнью, зависимой от жизни взрослых и ими приглушаемой. Иногда сказанное кем-либо из старших слово будит какое-либо наше, особенное воспоминание. Я подмигиваю сестренке, она заглушенно хихикает, ктонибудь из старших рассеянно взглядывает на нее. Я подмигиваю снова, она старается спрятать смех под клеенку и ударяется лбом о стол. Это заражает меня, иной раз и старшую сестру, которая с сохранением тринадцатилетнего достоинства лавирует между младшими и старшими. Если смех прорывался слишком бурно, я вынужден был спускаться под стол, красться промеж ног старших и, отдавив хвост кошке, прорываться в соседнюю каморку, именуемую детской. Через несколько минут все начиналось сначала. От смеху слабели пальцы, так что нельзя было удержать стакан. Голова, губы, руки, ноги – все растворялось и текло в смехе. «Что с вами такое?» – спрашивала усталая мать. Два круга жизни, верхний и нижний, на мгновение сливались. Старшие глядели на детей с вопросом, иногда благожелательно, чаще с раздражением. Тогда смех, застигнутый

врасплох, бурно прорывался наружу. Оля снова уходила с головой под стол, я падал на диван, Лиза кусала нижнюю губу, горничная скрывалась за дверью.

– Ступайте-ка спать! – говорили старшие. Но мы не уходили, прятались по углам, боясь глядеть друг на друга. Сестренку уносили, а я чаще всего засыпал на диване. Кто-нибудь брал меня на руки. Спросонок я поднимал иногда громкий крик. Мне казалось, что меня обступили собаки, или снизу шипят змеи, или разбойники уносят меня в лес. Детский кошмар врывается в жизнь взрослых. Меня по пути успокаивали, гладили и целовали. Так, из смеха – в сон, из сна – в кошмар, из кошмара – в пробуждение, я снова переходил в сон уже в перинах натопленной спальни.

Зима была все же наиболее семейным временем года.

Выпадали целые дни, когда отец и мать почти не выходили из комнаты. Старший брат и сестра прибывали на Рождество из своих школ. В воскресенье Иван Васильевич, чисто вымытый и подстриженный, вооруженный ножницами и гребешком, начинает стричь сперва отца, затем реалиста Сашу, затем меня. Саша спрашивает:

– А вы умеете, Иван Васильевич, стричь а ля капуль? Все поднимают голову на Сашу, а он рассказывает, как его в Елисаветграде цирюльник замечательно постриг а ля капуль, а на другой день ему был за это от инспектора строгий выговор.

После стрижки садятся обедать. Отец и Иван Васильевич – с двух концов стола, в креслах, дети – на диване, мать – напротив. Иван Васильевич столовался вместе с хозяевами, пока не женился. Зимой обедали медленнее, после обеда разговаривали, Иван Васильевич курил и пускал замысловатые кольца. Иногда сажали Сашу или Лизу читать вслух. Отец дремал, сидя на лежанке, и его на этом ловили. Вечером изредка садились играть в подкидного дурака, и тут бывало много возни и смеху, а иногда и маленьких ссор. Особенно считалось привлекательным сплутовать против отца, который играл невнимательно, смеялся, когда проигрывал, в отличие от матери, которая играла лучше, волновалась и зорко следила за тем, чтобы старший брат не плутовал против нее.

От Яновки до ближайшего почтового отделения – 23 километра, до железной дороги – свыше 35 километров. Отсюда далеко до начальства, до магазинов, до городских центров и еще дальше до больших событий истории. Жизнь здесь регулировалась исключительно ритмом земледельческого труда. Все остальное казалось безразличным. Все остальное, кроме цен на мировой бирже зерна. Газет и журналов в деревне в те годы не получали: это явилось позже, когда я стал уже реалистом. Письма получались редко, с оказией. Иной раз сосед, захвативший из Бобринца письмо, носил его неделю и две в кармане. Получение письма было событием, получение телеграммы катастрофой.

Мне объясняли, что телеграмма идет по проволоке, а между тем я видел собственными глазами, что телеграмму привозил из Бобринца верховой, которому полагалось платить за это 2 рубля 50 копеек. Телеграмма – это бумажка, как письмо, и на ней карандашом написаны слова. Как же она может идти по проволоке, разве ветром? Мне отвечали, что электричеством. Это было еще хуже. Дядя Абрам однажды внушительно объяснял мне: «По проволоке идет ток и делает знаки на ленте. Повтори». Я повторял: ток по проволоке, и знаки на ленте. «Понял?». Понял. «А как же потом получается письмо?» – спросил я, имея в виду телеграфный бланк, приходящий из Бобринца. «Письмо идет отдельно», – отвечал дядя. Я недоумевал, зачем нужен ток, если «письмо» едет на лошади. Но дядя рассердился: «Оставь в покое письмо, – прикрикнул он. – Я тебе объясняю о телеграмме, а ты мне все о письме». Так вопрос и остался невыясненным.

У нас гостила Полина Петровна, барынька из Бобринца с большими серьгами и с чубиком, напущенным на лоб. Ее потом мама отвозила в Бобринец, и я ехал с ними. Когда проехали курган, что на одиннадцатой версте, показались телеграфные столбы и загудела проволока. «А как идет телеграмма?» – обратился я к матери. «А вот ты попроси Полину

Петровну, – ответила растерянно мать, – она тебе объяснит». Полина Петровна объяснила: «Знаки на ленточке означают буквы, их переписывает на бумажке телеграфист, и бумажку отвозит верховой». Это было понятно. «А как же ток идет, ничего не видать?» – спросил я, глядя на проволоку. «А ток идет внутри, – ответила Полина Петровна. – Все эти проволоки сделаны как трубочки, и внутри них течет ток». Это тоже было понятно, я надолго успокоился. Электромагнитные жидкости, о которых я услышал года через четыре от учителя физики, показались мне гораздо менее вразумительными.

Отец и мать прошли через свою трудовую жизнь не без трений, но в общем очень дружно, хотя были они разные люди. Мать вышла из городской мещанской семьи, которая сверху вниз смотрела на хлебороба с потрескавшимися руками. Но отец был в молодости красив, строен, с мужественным и энергичным лицом. Он успел собрать кое-какие средства, которые в ближайшие годы дали ему возможность купить Яновку. Переброшенная из губернского города в степную деревню, молодая женщина не сразу вошла в суровые условия сельского хозяйства, но зато вошла полностью и с той поры не выходила из трудовой упряжки в течение почти 45 лет. Из восьми рожденных от этого брака детей выжило четверо. Я был пятым в порядке рождения. Четверо умерло в малых летах от дифтерита, от скарлатины, умерло почти незаметно, как и выжившие жили незаметно. Земля, скот, птица, мельница требовали всего внимания без остатка. Времена года сменяли друг друга, и волны земледельческого труда перекачивались через семейные привязанности. В семье не было нежности, особенно в более отдаленные годы. Но была глубокая трудовая связь между матерью и отцом. – Поддай матери стул, – говорил отец, как только мать приближалась к порогу, покрытая белой пылью мельницы. Ставь, Машка, скорей самовар, – кричала хозяйка, еще не дойдя до дому. – Скоро хозяин будет с поля. Оба они хорошо знали, что такое предельная усталость тела.

Отец был, несомненно, выше матери и по уму, и по характеру. Он был глубже, сдержаннее, тактичнее. У него был на редкость хороший глаз – не только на вещи, но и на людей. Родители покупали вообще мало, особенно в старые годы, – и отец, и мать умели беречь копейку, но отец безошибочно понимал, что покупал. Сукно, шляпа, ботинки, лошадь или машина – у него во всем было чутье качества. «Я грошей не люблю, – говорил он мне позже, как бы оправдывая свою прижимистость, – но я не люблю, когда их нема. Беда, когда грошей треба, а их нема». Он говорил неправильно, на смеси русского и украинского языков, с преобладанием украинского. Людей он оценивал по манерам, по лицу, по всей повадке, и оценивал метко.

После многих родов и трудов мать стала одно время хворать и ездила в Харьков к профессору. Такие поездки были большими событиями, к ним долго готовились. Мать запасалась деньгами, банками с маслом, мешком со сдобными сухарями, жареными курицами и прочим. Впереди предстояли большие расходы. Профессору надо было платить по три рубля за визит. Об этом говорили друг другу и гостям, с поднятым вверх пальцем и с особенно значительным выражением лица; тут было и уважение к науке, и жалоба на то, что она так дорого обходится, и гордость тем, что есть возможность платить такие неслыханные деньги. Возвращения матери ждали с волнением. Мать приезжала в новом платье, которое казалось в яновской столовой неслыханно нарядным.

Когда дети были еще малы, отец в обращении с ними был мягче и ровнее. Мать часто раздражалась, иногда без основания, просто срывая на детях усталость или хозяйственную неудачу. В те годы считалось более выгодным просить о чем-либо отца. Но с годами отец становился жестче. Причиной были трудности жизни, хлопоты, которые росли вместе с ростом дела, особенно в условиях аграрного кризиса 80-х годов, и разочарования, принесенные детьми.

Долгими зимами, когда степным снегом заносило Яновку со всех сторон, наваливая сугробы выше окон, мать любила читать. Она садилась на небольшой треугольной лежанке в столовой, ставя ноги на стул, или, когда надвигались ранние зимние сумерки, пересаживалась в отцовское кресло, к маленькому обмерзшему окну и громким шепотом читала заношенный роман из Бобринецкой библиотеки, водя натруженным пальцем по строкам. Она нередко сбивалась в словах и запинаясь на сложно построенной фразе. Иногда подсказка кого-либо из детей совсем по-иному освещала в ее глазах прочитанное. Но она читала настойчиво, неутомимо, и в свободные часы зимних тихих дней можно было уже в сенях слышать ее размеренный шепот.

Отец научился разбирать по складам уже стариком, чтобы иметь возможность читать хотя бы заглавия моих книг. Я с волнением следил за ним в 1910 г. в Берлине, когда он настойчиво стремился понять мою книжку о немецкой социал-демократии.

Октябрьская революция застигла отца очень зажиточным человеком. Мать умерла еще в 1910 г., но отец дожил до власти Советов. В разгар гражданской войны, которая особенно долго свирепствовала на юге, сопровождаемая постоянной сменой властей, семидесятипятилетнему старику пришлось сотни километров пройти пешком, чтоб найти временный приют в Одессе. Красные были ему опасны, как крупному собственнику. Белые преследовали его, как моего отца. После очищения юга советскими войсками он получил возможность прибыть в Москву. Октябрьская революция отняла у него, разумеется, все, что он нажил. Свыше года он управлял небольшой государственной мельницей под Москвой. С ним любил беседовать по хозяйственным вопросам тогдашний народный комиссар продовольствия Цюрупа. Отец умер весной 1922 г. от тифа в тот час, когда я выступал с докладом на IV конгрессе Коминтерна.

Очень важным местом, главным местом в Яновке, была мастерская, в которой работал Иван Васильевич Гребень. Он поступил на службу, когда ему было 20 лет, в год моего рождения. Всем детям, в том числе и старшим, он говорил «ты», а мы обращались к нему на «вы» и величали Иваном Васильевичем. Когда ему пришлось призываться, отец мой ездил с ним вместе, кое-кого они подкупали, и Гребень остался в Яновке. Это был человек большой одаренности и красивого типа, с темно-русыми усами и французской бородкой. Техника его была универсальна: он ремонтировал паровики, выполнял котельную работу, точил металлические и деревянные шары, отливал медные подшипники, делал пружинные дрожки, починял часы, настраивал рояль, обивал мебель, построил целиком двухколесный велосипед, только без шин. Между приготовительным классом и первым я на этом сооружении научился велосипедной езде. В мастерскую немцы-колонисты привозили для ремонта сеялки и сноповязалки и приглашали Ивана Васильевича с собою на покупку молотилки или паровика. С отцом советовались по вопросам хозяйства, с Иваном Васильевичем – по вопросам техники. В мастерской были помощники и ученики. Я во многих делах был учеником этих учеников.

Не раз я нарезал в мастерской гайки и винты. Эта работа давала удовлетворение, ибо явственный результат ее обнаруживался тут же под руками. Иногда брался растирать краски на гладко отшлифованном каменном кругу. Но скоро приходило утомление, я все чаще спрашивал, не готово ли? Потерев кончиком пальца жирную смесь, Иван Васильевич качал отрицательно головою. Я уступал камень кому-нибудь из учеников.

Иногда Иван Васильевич садился на сундучок с инструментом, в углу, за верстаком, курил и глядел в пространство, не то обдумывая, не то припоминая, не то просто отдыхая без мысли. В таком случае я подбирался к нему со стороны и начинал ласково крутить один из его пышных темно-русых усов или внимательно рассматривать его руки – эти замечательные, совсем особенные кисти мастера. Вся кожа рук усеяна черными точками: это мельчайшие осколки, навсегда въевшиеся в тело при насечке мельничного жернова. Пальцы вязкие,

как корневища, но совсем не жесткие, расширяются к концам, крайне подвижные, а большой глубоко отгибается назад, образуя дугу. Каждый палец сознателен, живет и действует посвоему, а вместе они составляют необыкновенную рабочую артель. Как ни мало мне лет, но я вижу, я чувствую, что эта рука не так, как все другие руки, держит молоток или клещи. На левой руке большой палец обведен наискосок ободком рубца. В самый день моего рождения Иван Васильевич хватил себя по руке топором, палец висел почти на одной коже. Отец случайно увидел, как молодой машинист, положив руку на доску, готовится отрубить палец начисто. «Постойте, – закричал он, – палец еще прирастет». «Прирастет, думаете?» – спросил машинист и отложил топор. Палец действительно прирос, работает исправно, только отгибается назад не так глубоко, как на правой руке.

Старую берданку Иван Васильевич переделал на дробовик и теперь испытывал правильность боя: все по очереди пробовали на расстоянии нескольких шагов ударом по пистону потушить свечу. Не у всех выходило. Случайно вошел мой отец. Когда он брал ружье на прицел – у него дрожали руки, да и ружье он держал как-то неуверенно. Тем не менее свечу потушил сразу. У него был меткий глаз во всяком деле, и это понимал Иван Васильевич. У них никогда не выходило перекоров, хотя с другими отец говорил по-хозяйски, часто выговаривал и поправлял.

В мастерской я никогда не был без дела. Я раскачивал рукоятку поддувала, устроенного Иваном Васильевичем по собственной системе: вентилятор был невидим, так как находился на чердаке, и это вызывало изумление всех посетителей. Я вертел до изнеможения колесо токарного станка, особенно когда на нем точились крокетные шары из слоистой акации. В мастерской шли тем временем разговоры один другого интереснее. Благопристойность тут соблюдалась не всегда. Вернее бы сказать, что она не соблюдалась вовсе. Зато кругозор мой расширился, не по дням, а по часам. Фома рассказывал про именья, в которых работал, про разные приключения помещиков и помещиц. Нужно сказать, что он не обнаруживал к ним большой симпатии. Мельник Филипп подгонял к теме воспоминания из своей военной жизни. Иван Васильевич ставил вопросы, сдерживал, дополнял.

Кочегар Яшка, он же иногда молотобоец, угрюмый рыжий человек лет тридцати, не держался на месте долго. Что-то подхватывало его; то осенью, то весной он скрывался, спустя полгода появлялся снова. Он пил редко, но тяжелым запоем. Имел страсть к охоте, но пропил ружье. Фома рассказывал, как Яшка в Бобринце пришел в лавку босой, ноги у него облипли черноземной грязью со всех сторон, потребовал пистончик для своей шомпольной одностволки, рассыпал нарочно коробку, стал собирать, наступил на пистончик грузной ногой и унес.

– Врет Фома? – спросил Иван Васильевич.

– Зачем врать, – ответил Яшка, – у меня ж ни копейки не было. – Этот способ добывания нужных предметов казался мне замечательным и достойным подражания.

– Наш Игнат приехал, – сообщала горничная Маша, – а Дуньки нету, до своих на праздник пошла. Кочегар Игнат назывался нашим в отличие от горбатого Игната, который до Тараса был старостой. «Наш» Игнат уезжал призываться. Сам Иван Васильевич мерил ему грудь и говорил: «Ни за что не возьмут». Приемная комиссия поместила Игната на месяц в больницу, на испытание. Там он познакомился с городскими рабочими и решил попытать счастья на заводе. На Игнате были городские сапоги и полушубок с цветной мережкой. Целый день Игнат провел в мастерской, рассказывал про город, про работу, про порядки, про станки, про плату.

– Известно, завод... – говорил задумчиво Фома.

– Завод это тебе не мастерская, – прибавлял Филипп. И все глядели задумчиво поверх мастерской.

– Много станков? – жадно переспросил Виктор.

– Как лес.

Я слушал не мигая и воображал себе завод, как раньше воображал лес: ни вверх, ни направо, ни налево, ни назад, ни вперед ничего не видать, одни машины, и среди этих машин – Игнат, туго подпоясанный ремненным поясом. А у Игната оказались еще и часы. Они переходили из рук в руки. Вечером хозяин ходил по двору с Игнатом, за ними – приказчик. Я тут же, то со стороны отца, то со стороны Игната. «Ну, а харчиться? Хлеба купуешь? Молоко купуешь? За квартиру платишь?» – «Это небесприменно, за все, как есть за все плати, – соглашался Игнат... – Только заработок не тот».

– Знаю, что не тот, только весь твой заработок и уйдет на харчи.

– А все же таки, – оспаривал с твердостью Игнат, – я за полгода и оделся трошки, и часы себе купил. Вот машинка, в кармане. – И он снова показал часы. Этот довод был неотразим. Хозяин умолкал, потом спрашивал:

«А не пьешь, Игнат? Там кругом таки учителя, что живо научат».

– Да я даже и надобности в ней не имею, что за водка такая.

– Ну а как же, Игнат, Дуньку возьмешь с собою? – спрашивала хозяйка.

Игнат улыбался в сторону, чуть виновато, но не отвечал.

– Эге, да я уже бачу, бачу, – говорила хозяйка, – уже завел, видно, городскую шлюху, признавайся, шарлатан.

Так и уехал Игнат из Яновки.

В людскую детям возбранялось ходить. Но кто за этим мог уследить? В людской было всегда много нового. Долгое время кухаркой была скуластая женщина, с провалившимся носом. Муж ее, старик с парализованным наполовину лицом, был скотьим пастухом. Их называли кацапами, потому что они были из внутренней губернии. У этой четы была девочка лет восьми, очень миловидная, голубоглазая и беловолосая. Она привыкла к тому, что тятка с мамкой всегда бранятся.

В воскресные дни девушки искали в головах у парней или друг у друга. На охапке соломы лежат в людской рядом две Татьяны – Татьяна высокая и Татьяна маленькая. Конюх Афанасий, сын приказчика Пуда и брат кухарки Параски, уселся поперек между ними, перебрисил ноги через маленькую Татьяну, а сам облокотился на высокую.

– Ишь, какой Магомет, – с завистью говорит приказчик. – А не пора ли тебе коней поить?

Этот рыжеватый Афанасий да еще черный Мутузок были моими преследователями. Когда я попадал к моменту раздачи кандера или каши, непременно раздастся насмешливый голос: «А ты бы, Лева, пообедал с нами» или «А ты бы, Лева, у мамы для нас курочек попросил». Я конфузился и уходил молчком. К Пасхе для рабочих выпекали куличи и красили яйца. Тетя Раиса была мастерица красить. Она привезла из колонии несколько узорных яиц и два подарила мне. За погребом, на скате катали яйца, цокали друг о друга: у кого крепче. Я подошел уже к самому концу, когда оставался один Афанасий. «Красивенькие? – спросил я, показывая ему писанки». «Та нечего, – ответил Афанасий с видом безразличия. – Хочешь, цокнем, у кого крепче?» Я не посмел отклонить вызов. Афанасий цокнул, и моя писанка треснула на макушке. «Значит, мое, – сказал Афанасий. – А ну-ка давай другое». Я подставил покорно вторую писанку. Афанасий опять цокнул: «И это мое». Он деловито забрал обе писанки и пошел не оглядываясь. Я смотрел с удивлением и крепко хотел плакать, но дело было непоправимо.

Постоянных рабочих, не покидавших экономии круглый год, было немного. Главную массу, исчислявшуюся сотнями в годы больших посевов, составляли сроковые рабочие, киевцы, черниговцы, полтавцы, которых нанимали до Покрова, то есть до первого октября. В урожайные годы Херсонская губерния поглощала 200–300 тысяч таких рабочих. За четыре летних месяца косари получали 40–50 рублей на хозяйских харчах, женщины 20–30 рублей.

Жильем служило чистое поле, в дождливую погоду – стога. На обед – постный борщ и каша, на ужин – пшенная похлебка. Мяса не давали вовсе, жиры отпускались почти только растительные и в скудном количестве. На этой почве начиналось иногда брожение. Рабочие покидали жнивье, собирались во дворе, ложились в тень амбаров животами вниз, загибали вверх босые, потрескавшиеся, исколотые соломой ноги и ждали. Им давали кислого молока, или арбузов, или полмешка тарани (сушеной воблы), и они снова уходили на работу, нередко с песней. Так происходило во всех экономиях. Были косари, пожилые, жилистые, загорелые, которые приходили в Яновку лет десять подряд, зная, что им работа всегда обеспечена. Они получали несколько добавочных рублей и время от времени рюмку водки, так как они определяли темп работы. Иные являлись во главе целого семейного выводка. Шли из своих губерний пешком, целый месяц, питаясь краюхами хлеба, ночуя на базарах. В одно лето пришлое рабочие повально заболевали куриной слепотой. В сумерки они медленно передвигались, вытянув вперед руки. Гостивший в деревне племянник матери написал об этом корреспонденцию, которую заметили в земстве и прислали инспектора. На «корреспондента», которого очень любили, отец и мать были в обиде. Да он и сам был не рад. Никаких неприятных последствий, однако, не было: инспекция установила, что болезнь происходит от недостатка жиров, что распространена она почти во всей губернии, так как везде кормят одинаково, а кое-где и хуже.

В мастерской, в людской кухне, на задворках жизнь раскрывалась передо мною шире и по-иному, чем в семье. Жизненная фильма не имеет конца, а я был только у самого начала. Присутствия моего никто не стеснялся, когда я был поменьше. Языки развязывались свободно, особенно в отсутствие Ивана Васильевича или приказчика, которые все же наполовину принадлежали к правящим. При свете кузнечного горна или кухонного очага родители, родственники, соседи представляли передо мною нередко совсем в новом освещении. Много из тех бесед вошло в сознание навсегда. Многое, может быть, легло в основу моего отношения к современному обществу.

Глава II. СОСЕДИ. ПЕРВАЯ ШКОЛА

В версте от Яновки, и того меньше, помещалась экономя Дембовских. Отец арендовал у них землю и связан был с ними многолетними деловыми связями. Собственницей имения была Феодосья Антоновна, старая полька-помещица, из бывших гувернанток. После смерти первого богатого мужа она женила на себе своего управляющего, Казимира Антоновича, моложе ее лет на 20. Феодосья Антоновна давно уже не жила со своим вторым мужем, который по-прежнему управлял имением. Казимир Антонович был высокий, усатый, веселый и крикливый поляк. Он нередко пил у нас чай за большим овальным столом и с шумом рассказывал пустяковые истории по два и три раза, повторяя отдельные словечки и-пощелкивая пальцами.

У Казимира Антоновича была изрядная пасека, подальше от конюшен и хлевов, так как пчелы не выносят лошадиного запаха. Пчелы собирали мед с фруктовых деревьев, с белых акаций, с рапса, гречихи, словом, было им где разгуляться. Время от времени Казимир Антонович сам приносил к нам в салфетке две перекрытые тарелки, меж которыми лежал кусок сотов в прозрачном золоте меда.

Иван Васильевич отправился однажды со мною к Казимиру Антоновичу, чтоб достать голубей на развод. В одной из угловых комнат большого пустого дома Казимир Антонович угощал нас чаем. В больших, пахнущих сыростью тарелках стояли масло, творог и мед. Я пил чай с блюдечка и слушал медлительный разговор. «А не опоздаем?» – спрашивал я потихоньку Ивана Васильевича. «Нет, погоди, – отвечал Казимир Антонович, – надо им дать угомониться под крышей. Там их видимо-невидимо». Я томился. Наконец, с фонарем в руках полезли на чердак над амбаром. «Ну, теперь берегись», – говорил мне Казимир Антонович. Чердак был длинный, темный, перегороженный в разных направлениях балками. Пахло мышами, пылью, паутиной и птичьим пометом. Фонарь потушили. «Тут они, хватайте», – сказал потихоньку Казимир Антонович. И после этих слов началось неопишное. В глубочайшей темноте открылась адская возня: чердак ожил и закружился вихрем. Один момент мне казалось, что рушится мир, что все погибло. Только постепенно пришел я в себя, слыша напряженные голоса: «Есть еще, сюда, сюда... суйте в мешок... так его». Иван Васильевич нес мешок и в течение всего обратного пути на спине у него шло как бы продолжение того, что было на чердаке. Голубятню устроили под крышей, над мастерской. Я лазил по лестнице по десять раз на день, носил голубям воду, просо, пшеницу, крошки. Через неделю в одном из гнезд появилось два яичка. Но не успели еще все прочувствовать как следует удовлетворение от этого факта, как голуби стали пара за парой возвращаться на старые места. Осталось всего три пары с подрезанными крыльями, но и они через недельку, когда перья отросли, покинули прекрасно построенную голубятню с коридорной системой. На этом закончился опыт разведения голубей.

Под Елизаветградом отец снимал землю у барыни Т-цкой. Это вдова лет под сорок, с характером. При ней состоит батюшка, тоже вдовый, любитель музыки, карт и многого другого. Барыня Т-цкая со вдовым батюшкой приезжает в Яновку пересматривать условия аренды. Им отводят зал и соседнюю комнату. К столу подают курицу в масле, вишневую наливку и вареники с вишнями. После обеда я остаюсь в зале и вижу, как батюшка подсаживается к барыне Т-цкой и что-то очень смешное говорит ей на ухо. Отвернув полу рясы и вытащив из кармана полосатых брюк серебряный портсигар с монограммой, батюшка закурился папиросой и, ловко пуская кольца дыма, рассказывает в отсутствие барыни, как она в романах читает одни только разговоры. Все улыбаются из вежливости, но воздерживаются от суждений, так как знают, что батюшка все передаст барыне, да еще и присочинит.

У Т-цкой отец стал снимать землю вместе с Казимиром Антоновичем. К этому времени он уже овдовел и сразу переменялся: в бороде исчезла проседь, появился крахмаль- ный воротничок, галстук, булавка и карточка дамы в кармане. Казимир Антонович, хоть и посмеивался, как все, над дядей Григорием, но именно ему исповедовался во всех сердечных делах и показывал фотографическую карточку, вынимая ее из конверта. «Поглядите, – гово- рил он млевшему от восторга дяде Григорию, – я этой особе говорю: сударыня, ваши губы созданы для поцелуев». На этой особе Казимир Антонович женился, но через год-полтора после женитьбы погиб неожиданной смертью: во дворе имения Т-цкой поднял его на рога бык и забодал насмерть...

Верстах в восьми находилось имение братьев Ф-зер. Земля исчислялась тысячами десятин. Дом был похож на дворец, богато обставлен, с многочисленными помещениями для гостей, с бильярдной и всем прочим. Братья Ф-зер, Лев и Иван, получили все это в наслед- ство от отца Тимофея и постепенно наследство проживали. Имение было на руках у управ- ляющего и, несмотря на двойную бухгалтерию, давало убыток. «Вы не смотрите, что Давид Леонтьевич живет в землянке, он богаче меня», – говорил иногда старший Ф-зер про моего отца, и когда ему передавали об этом, он бывал явно доволен. Младший из братьев, Иван, проезжал однажды через Яновку с двумя охотниками верхом, с ружьями за спиной, со стайей белых борзых. Этого Яновка никогда не видела. «Скоро-скоро они наследство проохотят», – сказал неодобрительно вслед отец.

Печать обреченности лежала на этих помещичьих семьях Херсонской губернии. Они проделывали крайне быструю эволюцию, и все больше в одну сторону – к упадку, несмотря на то, что по составу своему были очень различны: и потомственные дворяне, и чиновники, одаренные за работу, и поляки, и немцы, и евреи, успевшие купить землю до 1881 г. Осново- положники многих из этих степных династий были люди в своем роде выдающиеся, удач- ливые, по натуре хищники. Я, впрочем, не знал лично никого из них, они все к началу вось- мидесятых годов успели вымереть. Многие из них начинали с ломаного гроша, но смелой ухваткой, нередко с уголовщиной, прибирали к рукам гигантские куски. Второе поколение вырастало уже в условиях скороспелого барства, с французским языком, с бильярдом и со всяким беспутством. Аграрный кризис 80-х годов, вызванный заокеанской конкуренцией, ударил по ним беспощадно. Они валились, как сухие листья с дерева. Третье поколение выделяло очень много полуразвалившихся прощелыг, никчемных людей, неуравновешен- ных и преждевременных инвалидов.

Наиболее чистой культурой дворянского разоренья была семья Гертопановых. По их имени Гертопановским называлось большое село и вся волость – Гертопановской. Когда-то вся округа принадлежала этой семье. Теперь у старика остались 400 десятин, но они зало- жены и перезаложены. Мой отец снимает эту землю, и арендные деньги идут в банк. Тимо- фе́й Исаевич жил тем, что писал крестьянам прошения, жалобы и письма. Приезжая к нам в гости, он прятал в рукав табак и сахар. Также поступала и жена его. Брызгаясь слюною, она рассказывала о своей юности, о рабынях, роялях, шелках и духах. Два сына их выросли почти неграмотными. Младший, Виктор, был учеником у нас в мастерской.

В 5–6 верстах от Яновки жили помещики-евреи М-ские. Это была причудливая и сум- сбродная семья. Старик Моисей Харитонович, лет 60, отличался воспитанием дворянского типа: говорил бегло по-французски, играл на рояле, знал кое-что из литературы. Левая рука у него была слабая, а правая годилась, по его словам, для концертов. Он ударял по клави- шам старых клавесин запущенными ногтями, точно кастаньетами. Начав с полонеза Огин- ского, переходил незаметно на рапсодию Листа и сразу сползал на Молитву девы. Такие же скачки бывали у него и в разговоре. Неожиданно оборвав игру, старик подходил к зеркалу и, если никого поблизости не было, подпаливал папироской с разных сторон свою бороду, приводя ее таким образом в порядок. Курил он непрерывно, задыхаясь и как бы с отвраще-

нием. С женой своей, тяжелой старухой, не разговаривал уже лет 15. Сын его Давид, лет 35, с неизменной белой повязкой на лице и с красным подрагивающим глазом над повязкой, был неудачным самоубийцей. На военной службе нагрубил в строю офицеру. Тот ударил его. Давид дал офицеру пощечину, убежал в казарму и пытался застрелиться из винтовки. Пуля вышла через щеку, и оттого на ней неизменная белая повязка. Солдату грозила суровая расправа. Но в то время жив еще был родоначальник этой династии, старик Харитон, богатый, властный, малограмотный деспот. Он поднял на ноги всю губернию и добился для своего внука признания невменяемости. Может быть, впрочем, это было не так уж далеко от истины. Давид жил с тех пор с простреленной щекой и с паспортом сумасшедшего.

М-ские продолжали падать на моей памяти. В первые ранние мои годы Моисей Харитонович еще приезжал в фаэтоне, на хороших выездных лошадях. Совсем маленьким, мне, должно быть, было 4–5 лет, я был у М-ских со старшим братом. Сад был большой, хорошо поддерживался, в нем были даже павлины. Это диковинное существо с коронкой на капризной головке, с прекрасными зеркальцами на сказочном хвосте и со шпорами на ногах я видел впервые. Потом павлины исчезли, и с ними многое другое. Забор вокруг сада завалился. Скот выбил плодовые деревья и цветы. Моисей Харитонович приезжал в Яновку в фургоне, на лошадях крестьянского типа. Сыновья сделали попытку возродить имение, не по-пански, а по-мужицки. «Купим кляч, будем по утрам сами выезжать, как Бронштейн». «Ничего у них не выйдет», – говорил мой отец. За покупкой «кляч» отправлен был в Елизаветград на ярмарку Давид. Он ходил по ярмарке, присматривался к лошадям глазом кавалериста и отобрал тройку. В деревню он вернулся поздним вечером. Дом был полон гостей в легких летних нарядах. Абрам с лампой в руках вышел на крыльцо разглядывать лошадей. С ним вышли дамы, студенты, подростки. Давид сразу почувствовал себя в своей сфере и разъяснял преимущество каждой лошади и особенно той, которая, по его словам, походила на барышню. Абрам чесал снизу бороду и повторял: «Лошади-то хорошие...» Кончилось пикником. Давид снял с миловидной гостьи туфлю, налил в нее пива и поднес к губам.

– Неужели вы будете пить? – спрашивала та, вспыхнув не то от испуга, не то от восхищения.

– Если я в себя стрелять не побоялся... – ответил герой и опрокинул туфлю в рот.

– Ты бы уж лучше не хвалился своими подвигами, – неожиданно откликнулась всегда молчавшая мать, большая рыхлая женщина, на которой лежало хозяйство.

– Это у вас озимая пшеница? – спрашивает Абрам М-ский моего отца, чтоб показать свою деловитость.

– Та вже ж не яровая.

– Никополька?

– Та у меня ж озимая.

– Я знаю, что озимая, только какой породы: никополька или гирка?

– Та я щось не чув, чтоб была озимая никополька. Може у кого є, а у меня нема. У меня сандомирка.

Так из этого усилия ничего и не вышло. Через год земля снова сдана была в аренду моему отцу.

Особую группу составляли немцы-колонисты. Среди них были прямо богачи. Семейный уклад у них жестче, сыновья редко посылались в город, девушки обычно работали в поле. В то же время дома у них были из кирпича, под зеленой и красной железной крышей, лошади породистые, сбруя исправная, рессорные повозки так и назывались немецкими фургонами. Ближайшим к нам был Иван Иванович Дорн, подвижной толстяк, в полуботинках на босую ногу, с дублеными щеками в щетине, с проседью, всегда на прекрасном фургоне, расписанном яркими цветами и запряженном вороными жеребцами, которые били копы-

тами землю. Таких Дорнов было немало. Над ними высилась фигура Фальцфейна, овечьего короля, степного Канитферштана.

Тянутся бесчисленные стада. — Чьи овцы? — Фальцфейна. Едут чумаки, везут сено, солому, полосу. — Кому? — Фальцфейну. Мчится на тройке в расписных санях меховая пирамида. Это управляющий Фальцфейна. А то вдруг, пугая своим видом и ревом, пройдет караван верблюдов. Только у Фальцфейна они и водились. У Фальцфейна были жеребцы из Америки, быки из Швейцарии.

Родоначалник этой семьи, еще только Фальц, а не Фейн, служил шафмейстером у герцога Ольденбургского, которому отпущен был казною куш на разведение мериносовых овец. Герцог наделал около миллиона рублей долга, а дела не сделал. Фальц скупил хозяйство и пустил его не по-герцогски, а по-шафмейстерски. Его овечьи гурты росли, как его пастбища и экономии. Дочь его вышла замуж за овцевода Фейна. Так и объединились эти две овечьи династии. Имя Фальцфейна звучало, как топот десятков тысяч овечьих копыт, как блеяние бесчисленных овечьих голосов, как крик и свист степных чабанов с длинными гирлыгами за спиной, как лай бесчисленных овчарок. Сама степь выдыхала это имя в зной и в лютые морозы.

Я оставил позади первое пятилетие. Опыт мой расширяется. Жизнь страшно богата на выдумки и так же прилежно занимается своими комбинациями в маленьком захолустье, как и на мировой арене. События наваливаются на меня одно за другим.

С поля привезли работницу, которую укусила на жнивье гадюка. Девушка жалобно плакала. Распухшую ногу ее туго перевязали повыше колена и опустили в бочонок с кислым молоком. Девушку отвезли в Бобринец, в больницу, откуда она снова вернулась на работу. Она носила на укушенной ноге чулок, грязный и порванный, и рабочие называли ее не иначе, как барышней.

Боров разгрыз лоб, плечи и руку парню, который кормил его. Это был новый, огромный боров, который призван был обновить все свиное стадо. Парень был перепуган насмерть и всхлипывал, как мальчик. Его тоже отвезли в больницу.

Двое молодых рабочих, стоя на возах со снопами, перебрасывались железными вилами. Я пожирал это зрелище. Одному из них вилы вонзились в бок, и он свалился с воплем.

Все это произошло в течение одного лета. А между тем ни одно лето не обходилось без событий.

Осенней ночью снесло в пруд всю деревянную постройку мельницы. Сваи давно подгнили, и под ураганом дощатые стены двинулись, как паруса. Локомотив, поставы, крупорушка, кукольный отборник обнаженно глядели из развалин. Из-под досок выскакивали ежеминутно огромные мельничные крысы.

Полутайком я уходил вслед за водовозом в поле, на охоту за сусликами. Надо было аккуратно, не слишком быстро, но и не медленно лить воду в нору и с палкой в руке дожидаться, пока над отверстием покажется крысиная мордочка с плотно прилегающей мокрой шерстью. Старый суслик сопротивляется долго, затыкая задом нору, но на втором ведре сдается и выскакивает навстречу смерти. У убитого надо отрезать лапы и нанизать на нитку: земство выдает за каждого суслика копейку. Раньше требовали предъявлять хвостик, но ловкачи из шкурки вырезывали десяток хвостиков, и земство перешло на лапки. Я возвращаюсь весь в земле и в воде. В семье не поощряли таких походов, более любили, когда я сидел на диване в столовой и срисовывал слепого Эдипа с Антигоной.

Однажды мы возвращались с матерью в санях из Бобринца, ближайшего к нам города. Слепленный снегом, убаюканный ездой, я дремал. На повороте сани опрокидываются, и я падаю ничком. Сверху меня накрывает ковром и сеном. Я слышу тревожные оклики матери, но мне нет возможности отвечать. Кучер — это новый: молодой, рослый, рыжий — подни-

мает ковер и открывает мое местонахождение. Снова усаживаемся и едем. Но тут я начинаю жаловаться, что у меня по спине мурашки бегут от холода. «Мурашки?» – оборачивается молодой рыжебородый кучер, показывая, крепкие, белые зубы. Я смотрю ему в рот и говорю: «Да, знаете, как будто мурашки». Кучер смеется. «Ничего, – говорит он, – скоро доедем!» – и подгоняет буланого. Следующей ночью этот самый кучер исчез вместе с буланым. В эконии тревога. Собирается вдогонку конная экспедиция со старшим братом во главе. Он седлает для себя Муца и обещает свирепо разделаться с похитителем. «Ты раньше догони его», – говорит ему угрюмо отец. Двое суток проходит, прежде чем возвращается погоня. Брат жалуется на туман, который не дал настигнуть конокрада. Значит, красивый, веселый парень, это и есть конокрад? С такими белыми зубами?

Меня томил жар, и я метался. Мешали руки, ноги и голова, они разбухали, упирались в стену и потолок, и от всех помех некуда было уйти, потому что помехи шли изнутри. У меня болит в горле, и весь я горю. Мать глядит в горло, затем отец, они переглядываются с тревогой и решают смазать мне горло синим камнем. «Я боюсь, – говорит мать, – что у Левы дифтерит». «Если б это был дифтерит, – отвечает Иван Васильевич, – он бы уже давно лежал на лавке». Я смутно догадываюсь, что лежать на лавке – значит быть мертвым, как умерла младшая сестра Розочка. Но я не верю, что это может относиться ко мне, и слушаю разговор спокойно. В конце концов решают отвезти меня в Бобринец. Мать не очень благочестива, но в субботу не решается ехать в город. Со мной отправляется Иван Васильевич. Останавливаемся у маленькой Татьяны, бывшей нашей прислуги, которая замужем в Бобринце. Детей у нее нет, и поэтому нет опасности заразы. Доктор Шатуновский смотрит мне в горло, меряет температуру и, как всегда, утверждает, что ничего еще нельзя знать. Хозяйка Таня дает мне пивную бутылку, внутри которой из палочек и дощечек построена целая церковь. Ноги и руки перестают надоедать мне.

Я выздоравливаю. Когда это произошло? Незадолго до открытия эры.

Дело было так. Дядя Абрам, старый эгоист, который проходил мимо детей неделями, вдруг в хорошую минуту призвал меня и спросил: «А скажи, прямо того, какой теперь год? Не знаешь? 1885! Повтори, запомни, я позже спрошу». Что это значит, я постигнуть не мог. «Да, теперь 1885 год, – сказала двоюродная сестра, тихая Ольга, – а потом будет 1886-й». Этому я не поверил. Если уж допустить, что время имеет свое название, то 1885 год будет существовать вечно, т. е. очень, очень долго, как большой камень, заменяющий у входа порог, как мельница, наконец, как я сам. Бетя, младшая сестра Ольги, не знала, кому верить. Все трое чувствовали беспокойство от того, что вступили в новую область, точно распахнули с разбега дверь в наполненную сумраком комнату, где нет мебели и гулко отдаются голоса. В конце концов мне пришлось сдаться. Все становилось на сторону Ольги. Так первым нумерованным годом, который вошел в мое сознание, был 1885-й. Он положил конец бесформенному времени, доисторической эпохе моего существования, хаосу: с этого узла началось летоисчисление. Мне тогда было шесть лет. Для России это был год неурожая, кризиса и первых больших рабочих волнений. Но меня он поразили лишь своим непостижимым наименованием. С тревогой пытался я раскрыть таинственную связь между временем и цифрами. Потом началось чередование годов, сперва медленно, а затем все быстрее. Но 85-й долго выделялся среди них как старший, как родоначальник. Он стал моей эрой.

Было однажды такое событие. Я сел в фургон перед крыльцом и в ожидании отца прибрал к рукам вожжи. Молодые лошади понесли с места мимо дома, мимо амбара, мимо сада, без дороги, полем, по направлению к усадьбе Дембовских. За спиною слышались крики. Впереди был ров. Лошади мчались в самозабвении. Только перед самым рвом, рванувшись в сторону и едва не опрокинув фургон, они остановились как вкопанные. Сзади бежали кучер, за ним двое-трое рабочих, дальше бежал отец, еще дальше кричала мать, старшая сестра ломала руки. Мать продолжала кричать и тогда, когда я бросился к ней навстречу. Нельзя

умолчать, что я получил два шлепка от отца, бледного как смерть. Я даже не обиделся, так все было необыкновенно.

В этом же году, должно быть, я совершил с отцом поездку в Елизаветград. Выехали на рассвете, ехали не спеша, в Бобринце кормили лошадей, к вечеру доехали до Вшивой, которую из вежливости называли Швивой, переждали там до рассвета, потому что под городом шалили грабители. Ни одна из столиц мира – ни Париж, ни Нью-Йорк – не произвела на меня впоследствии такого впечатления, как Елизаветград, с его тротуарами, зелеными крышами, балконами, магазинами, городовыми и красными шарами на ниточках. В течение нескольких часов я широко раскрытыми глазами глядел в лицо цивилизации.

Через год после открытия эры я стал учиться. Однажды утром, выспавшись и наскоро умывшись (умывались в Яновке всегда наскоро), предвкушая новый день, и прежде всего чай с молоком и сдобный хлеб с маслом, я вошел в столовую. Там сидела мать с неизвестным человеком, худощавым, бледно улыбающимся и как бы заискивающим. И мать и незнакомец посмотрели на меня так, что стало ясно: разговор имел какое-то отношение ко мне.

– Поздоровайся, Лева, – сказала мать, – это твой будущий учитель. Я поглядел на учителя с некоторой опаской, но не без интереса. Учитель поздоровался со мной мягкостью, с какой каждый учитель здоровается со своим будущим учеником при родителях. Мать закончила при мне деловой разговор: за столько-то рублей и столько-то пудов муки учитель обязывался в своей школе, в колонии, учить меня русскому языку, арифметике и библии на древнееврейском языке. Объем науки определялся, впрочем, смутно, так как в этой области мать не была сильна. В чае с молоком я чувствовал уже привкус будущей перемены моей судьбы.

В ближайшее воскресенье отец отвез меня в колонию и поместил у тетки Рахили. В том же фургоне мы отвезли тетке пшеничной и ячменной муки, гречихи, пшена и прочих продуктов.

До Громоклея от Яновки было четыре версты. Колония располагалась вдоль балки: по одну сторону – еврейская, по другую – немецкая. Они резко отличны. В немецкой части дома аккуратные, частью под черепицей, частью под камышом, крупные лошади, гладкие коровы. В еврейской части – разоренные избышки, ободранные крыши, жалкий скот.

Странно на первый взгляд, что первая школа оставила совсем мало по себе воспоминаний. Грифельная доска, на которой я списывал впервые буквы русской азбуки, выгнутый на ручке худой указательный палец учителя, чтение библии хором, наказание какого-то мальчика за воровство – смутные обрывки, туманные пятна, ни одного яркого образа. Изъятие составляла, пожалуй, жена учителя, высокая, полная женщина, которая время от времени принимала в нашей школьной жизни участие, каждый раз неожиданное. Однажды во время занятий она пожаловалась мужу, что от новой муки чем-то пахнет, и когда учитель протянул к ее руке с мукой свой острый нос, она вытряхнула всю муку ему в лицо. Это была ее шутка. Мальчики и девочки смеялись. Один учитель был невесел. Мне было жаль его, когда он стоял среди класса с напудренным лицом.

Жил я у доброй тети Рахили, не замечая ее. Тут же, во дворе, в главном доме, властвовал дядя Абрам. К племянникам и племянницам своим он относился с полным безучастием. Меня иногда выделял, зазывал к себе и угощал костью с мозгами, приговаривая: «За эту кость я бы, прямо того, и десять рублей не взял».

Дядин дом почти у самого въезда в колонию. В противоположном конце живет высокий, черный, худой еврей, слывающий конокрадом и вообще мастером темных дел. У него дочь. О ней тоже говорят нехорошо. Недалеко от конокрада строчит на машинке картузник, молодой еврей с огненно-рыжей бородкой. Жена картузника приходила к правительственному инспектору колоний, который останавливался у дяди Абрама, жаловаться на дочь конокрада, отбивающую у нее мужа. Инспектор, видно, не помог. Возвращаясь однажды из школы, я видел, как толпа с криками, воплями, плевками волокла молодую женщину, дочь

конокрада, по улице. Эта библейская сцена запомнилась навсегда. Несколько лет спустя на этой самой женщине женился дядя Абрам. Отец ее к этому времени был по постановлению колонистов выслан в Сибирь как вредный член общества.

Бывшая моя няня Маша служила прислугой у дяди Абрама. Я часто бегал к ней на кухню: она олицетворяла связь с Яновкой. К Маше заходили гости, иногда очень нетерпеливые, и тогда меня легонько выпроваживали за плечи. В одно прекрасное утро вместе со всем детским населением дома я узнал, что Маша родила ребенка. Мы шептались по углам в радостной тревоге. Через несколько дней из Яновки приехала моя мать и ходила на кухню глядеть на Машу и ее ребенка. Я проник за матерью. Маша стояла в платочке, надвинутом на глаза, а на широкой скамье лежало бочком маленькое существо. Мать глядела на Машу, потом на ребенка и укоризненно качала головой, ничего не говоря. Маша молча уставилась вниз, потом взглянула на ребенка и сказала:

«Ишь, как ручку подложил под щеку, как большой». «А тебе жалко его?», – спросила мать. «Нет, – ответила Маша притворно, – бай дуже». «Брешешь, жалко...» – возразила мать примирительно. Ребеночек через неделю умер так же таинственно, как и появился на свет.

Я часто уезжал из школы в деревню и оставался там почти каждый раз неделю и дольше. Среди школьников я ни с кем не успел сблизиться, так как не говорил на жаргоне. Ученье длилось лишь несколько месяцев. Всем этим, надо думать, и объясняется скудость моих школьных воспоминаний. Но все же Шуфер – так звали громоклеевского педагога – научил меня читать и писать, и оба эти искусства пригодились мне в моей дальнейшей жизни. Я сохраняю поэтому о моем первом учителе благодарное воспоминание.

Я начинал продираться через печатные строки. Я списывал стихи. Я сам писал стихи. Позже я приступил со своим двоюродным братом Сеней Ж-ским к изданию журнала. Однако на новом пути были свои тернии. Едва я постиг искусство письма, как оно уже повернулось ко мне соблазном. Оставшись однажды в столовой один, я начал печатными буквами записывать те особенные слова, которые слышал в мастерской и на кухне и которых в семье не говорили. Я сознавал, что делаю не то, что надо, но слова были заманчивы именно своей запретностью. Роковую записочку я решил положить в коробочку из-под спичек, а коробочку глубоко закопать в землю за амбаром. Я далеко не довел своего документа до конца, как им заинтересовалась вошедшая в столовую старшая сестра. Я схватил бумажку со стола. За сестрой вошла мать. От меня требовали, чтобы я показал. Сгорая от стыда, я бросил бумажку за спинку дивана. Сестра хотела достать, но я истерически закричал: «Сам, сам достану». Я полез под диван и стал там рвать свою бумажку. Отчаянию моему не было пределов, как и моим слезам.

На Рождество, должно быть, 1886 г., потому что я уже умел писать, ввалилась в столовую вечером, за чаем, группа ряженных. Это было так неожиданно, что я с испугу упал на диван, на котором сидел. Меня успокоили, и я с жадностью слушал царя Максимилиана. Передо мною впервые открылся мир фантастики, претворенной в театральную действительность. Я был поражен, когда узнал, что главную роль выполнял рабочий Прохор, из солдат. На другой день я с карандашом и бумагой пробрался в людскую, когда только что отобедали, и стал просить царя Максимилиана продиктовать мне свои монологи. Прохор отнекивался. Но я вцепился в него, просил, требовал, умолял, не давал отступить. В конце концов мы поместились у окна, я стал записывать на корявом подоконнике рифмованную речь царя Максимилиана. Не прошло и пяти минут, как в дверь заглянул отец, увидел сцену у окна и строго сказал: «Лева, ступай в комнату». Я безутешно плакал на диване до вечера.

Я писал стихи, беспомощные строчки, которые изобличали, может быть раннюю, любовь к слову, но наверняка не предвещали поэтического развития в будущем. О моих стихах знала старшая сестра, через сестру – мать, а через посредство матери – отец. От меня требовали, чтоб я читал свои стихи при гостях. Это было мучительно стыдно. Я отказывался.

Меня уговаривали, сперва ласково, потом с раздражением, наконец, с угрозами. Я нередко убегал. Но старшие умели настоять на своем. С бьющимся сердцем, со слезами на глазах я читал свои стихи, стыдясь заимствованных строк или плохих рифм.

Но так или иначе, я уже вкусил от дерева познания. Жизнь расширялась не по дням, а по часам. От дырявого дивана в столовой протягивались нити к мирам иным. Чтение открывало в моей жизни новую эпоху.

Глава III. СЕМЬЯ И ШКОЛА

1888 г. в моей жизни начались большие события. Меня отправили в Одессу учиться. Это произошло так. Летом жил в деревне племянник матери, 28-летний Моисей Филиппович Шпенцер, умный и хороший человек, в свое время слегка «пострадавший», как говорили тогда, и потому не попавший из гимназии в университет. Он занимался немного журналистикой, немного статистикой. В деревню он приехал бороться с угрозой туберкулеза. У матери своей и нескольких сестер Моня, как его называли, был предметом гордости – и по способностям, и по характеру. Уважение к нему перешло и в нашу семью. Все заранее радовались его приезду. Вместе с другими радовался потихоньку и я. Когда Моня вошел в столовую, я стоял за порогом так называемой детской, маленькой угловой комнаты, и не решался продвинуться вперед, потому что оба мои ботинка открывали два зияющих рта. Это было не от бедности – в то время семья была уже очень зажиточна, – а от деревенского безразличия, от переобремененности работой, от невысокого уровня семейных потребностей. «Здравствуй, мальчик, – сказал Моисей Филиппович, – иди-ка сюда...» «Здравствуйте», – ответил мальчик, но с места не двигался. Гостю с виноватым смехом объяснили, в чем дело, и он весело вывел меня из трудного положения, перенеся через порог и крепко обняв.

За обедом Моня был центром внимания: мать подкладывала ему лучшие куски, спрашивала, вкусно ли, и добивалась, чего он любит. Вечером, когда стадо загнали в загон, Моня сказал мне: «Айда пить парное молоко, бери стаканы... Да ты их бери, голубчик, пальцами снаружи, а не снутри». От Мони я узнавал многое, чего не знал ранее: как держать стаканы, и как умываться, и как правильно произносить разные слова, и почему полезно для груди молоко прямо из-под коровы. Шпенцер гулял, писал, играл в кегли и занимался со мною арифметикой и русским языком, готовя меня в первый класс. Я относился к нему восторженно, но и с тревогой: в нем чувствовалось начало какой-то более требовательной дисциплины. Это было начало городской культуры.

Моня был приветлив со своими деревенскими родственниками, много шутил и напевал мягким тенором. Но моментами его настроение чем-то омрачалось, он сидел за обедом молчаливым и замкнутым. На него глядели с тревогой, спрашивали, что с ним, не болен ли. Он отвечал кратко и уклончиво. Только смутно, и то лишь к концу пребывания гостя в деревне, я стал догадываться о причинах таких приступов замкнутости: Моню поражала какая-нибудь деревенская грубость или несправедливость. Не то чтобы дядя или тетка его были особенно суровыми хозяевами, нет, этого сказать ни в каком случае нельзя.

Характер отношений к рабочим и крестьянам был никак не хуже, чем в других семьях. Но и не многим лучше. А это значит, что он был тяжким. Когда приказчик отхлестал однажды длинным кнутом пастуха, который продержал до вечера лошадей у воды, Моня побледнел и сказал сквозь зубы: «Какая гадость!». И я чувствовал, что это гадость. Не знаю, почувствовал ли бы я это без него. Думаю, что да. Но во всяком случае он помог мне в этом, и уже это одно привязало меня к нему на всю жизнь чувством благодарности.

Шпенцер собирался жениться на начальнице одесского казенного училища для еврейских девочек. В Яновке ее никто не знал, но все заранее считали, что она должна быть выдающимся человеком: и как начальница училища, и как будущая жена Мони. Было решено: следующей весной меня отвезут в Одессу, я буду жить в семье Шпенцера и поступлю в гимназию. Портной из колонии коекак обрядил меня, в большой ящик были уложены горшки с маслом, банки с вареньем и другие гостинцы для городской родни. Прощались долго, плакал я крепко, плакала мать, плакали сестры, и тут я впервые почувствовал, как дорога мне Яновка со всеми, кто в ней. Ехали на станцию на лошадях, степью, и я плакал до самого поворота на большую дорогу. Из Нового Буга отправились поездом до Николаева, там пере-

саживались на пароход. Гудок парохода отдавался мурашками в спине и прозвучал как возведение новой жизни. Но это только еще река Буг, море впереди. Много, много еще впереди. Вот пристань, извозчик, Покровский переулок и старый большой дом, где помещается училище для девочек и его начальница. Меня рассматривают со всех сторон и целуют в лоб и щеки, сперва молодая женщина, потом старая, это ее мать. Моисей Филиппович шутит, как всегда, расспрашивает про Яновку, про всех обитателей и даже про знакомых коров. Но мне коровы кажутся теперь такими малозначительными существами, что я стесняюсь даже говорить о них в таком избранном обществе. Квартира невелика. В столовой мне отведен угол за занавесью. Здесь я и провел первые четыре года своей школьной жизни.

Я оказался сразу и целиком во власти той привлекательной, но и требовательной дисциплины, которой еще в деревне повеяло на меня от Моисея Филипповича. Режим в семье был не то что строгий, но правильный: именно этим он в первое время ощущался как строгий. В 9 часов мне полагалось ложиться спать. Лишь по мере моего передвижения в старшие классы час сна отодвигался. Мне шаг за шагом объясняли, что нужно здороваться по утрам, содержать опрятно руки и ногти, не есть с ножа, никогда не опаздывать, благодарить прислугу, когда она подает, и не отзываться о людях дурно за их спиной. Я узнавал, что десятки слов, которые в деревне казались непререкаемыми, суть не русские слова, а испорченные украинские. Каждый день предо мною открывалась частица более культурной среды, чем та, в которой я провел первые девять лет своей жизни. Даже мастерская начинала блекнуть и утрачивать свои чары перед обаянием классической литературы и колдовством театра. Я становился маленьким горожанином. Но иногда деревня ярко вспыхивала в сознании и тянула к себе, как потерянный рай. Тогда я тосковал, слонялся, писал пальцем на стекле приветы матери или плакал в подушку.

Жизнь в семье Моисея Филипповича была скромной, средств хватало в обрез. У главы семьи не было определенной работы. Он делал переводы греческих трагедий с примечаниями, писал рассказы для детей, штудировал Шлоссера и других историков, намереваясь составить наглядные хронологические таблицы, и помогал своей жене по управлению училищем. Лишь позже он создал маленькое издательство, которое туго развивалось в первые годы, чтобы затем быстро подняться. Лет десять – двенадцать спустя он стал виднейшим издателем на юге России, владельцем большой типографии и собственного дома. Я прожил в этой семье шесть лет, которые совпали с первым периодом издательства. Я близко познакомился с набором, правкой, версткой, печатанием, фальцовкой и брошюровкой. Правка корректуры стала любимым моим развлечением. Любовь моя к свежеотпечатанной бумаге ведет свое происхождение от тех далеких школьных лет.

Как всегда, в буржуазных, особенно в мелкобуржуазных, семьях прислуга играла хоть и малозаметную, но немалую роль в моей жизни. Первая прислуга, Даша, повела со мной особую дружбу, секретную, поверяя мне разные свои тайны. После обеда, когда все отдыхали, я шел украдкой на кухню. Там Даша урывками рассказывала мне про свою жизнь и про первую свою любовь. После Даши была житомирская еврейка, разошедшаяся с мужем: «Такой злой, такой поганый», – жаловалась она мне. Я стал учить ее грамоте. Каждый день она проводила не меньше получаса, за моим столом, вникая в тайну букв и их связи в словах. В это время в семье уже был младенец и понадобилась кормилица. Я писал кормилице письма. Она жаловалась своему мужу, уехавшему в Америку, на свои страдания. Я накладывал, по ее просьбе, самые мрачные краски, затем присовокуплял, что «только один наш младенец является яркой звездой на мрачном небосклоне моей жизни». Кормилица была в восторге. Я сам перечитывал письмо вслух с удовольствием, хотя заключительная часть, где говорилось насчет присылки долларов, смущала меня. Затем она просила:

– А теперь еще одно письмо.

– Кому? – спрашивал я, готовясь к творчеству.

– Двоюродному брату, – отвечала кормилица, но как-то неуверенно. Письмо тоже говорило о мрачной жизни, ничего не говорило о звезде и заканчивалось согласием приехать к нему, если он того пожелает. Не успевала кормилица уйти с письмами, как ко мне входила прислуга, моя ученица, подслушивавшая, очевидно, у дверей. «И совсем он ей не двоюродный брат», – шептала она мне с возмущением. «А кто же?» – спрашивал я. «Просто так себе...» – отвечала она. И я имел повод поразмыслить над сложностью человеческих отношений.

За обедом Фанни Соломоновна сказала мне с особой улыбкой: «Что же ты, сочинитель, не хочешь еще супу?». «А что?» – спросил я с тревогой. «Да ничего. Ведь это ты сочинял письма кормилице, значит, ты и есть сочинитель... Как это у тебя там сказано: „звезда на мрачном небосклоне“, – право, сочинитель». – И не выдержав тона, она расхохоталась.

– Написано хорошо, – сказал, успокаивая меня Моисей Филиппович, – только, знаешь, больше уж не пиши ты ей писем, пусть лучше Фанни сама ей пишет.

Путаная изнанка жизни, не признанная ни семьей, ни школой, не переставала от этого существовать и оказывалась достаточно могущественной и вездесущей, чтоб добиться внимания к себе со стороны десятилетнего мальчика. Ее не пускали ни через школьную комнату, ни через парадную дверь квартиры. Она нашла себе путь через кухню.

Десятипроцентная норма для евреев в казенных учебных заведениях введена была в 1887 г. Попасть в гимназию было совсем почти безнадежно: требовались протекция или подкуп. Реальное училище отличалось от гимназии отсутствием классических языков и более широким курсом по математике, естествознанию и новым языкам. «Норма» распространялась и на реальные училища. Но наплыв сюда был меньше, и потому шансов больше. В журналах и газетах долго шла полемика по поводу классического и реального образования. Консерваторы считали, что классицизм прививает дисциплину, вернее сказать, надеялись, что гражданин, вынесший в детстве греческую зубрежку, вынесет в течение остальной жизни царский режим. Либералы же, не отказываясь от классицизма, который-де является молочным братом либерализма, ибо оба они происходят от Ренессанса, покровительствовали в то же время и реальному образованию. К тому времени, когда я определялся в учебное заведение, споры эти примолкли вследствие особого циркуляра, запретившего обсуждение вопроса о предпочтительности разных родов образования.

Осенью я экзаменовался в первый класс реального училища св. Павла. Вступительный экзамен я выдержал посредственно: тройка – по русскому, четверка – по арифметике. Этого было недостаточно, так как «норма» вела к строжайшему отбору, осложнявшемуся, разумеется, взяточничеством. Решено было поместить меня в подготовительный класс, который состоял при казенном училище в качестве частной школы и откуда евреев переводили в первый класс хоть и по «норме», но с преимуществом над экстернами.

Реальное училище св. Павла по происхождению своему было немецким учебным заведением. Оно возникло при лютеранской церковной общине и обслуживало многочисленных немцев Одессы и южного района вообще. Хотя училище св. Павла наделено было государственными правами, но так как в нем имелось только шесть классов, то для поступления в высшее учебное заведение нужно было пройти через седьмой класс при другом реальном училище: предполагалось, очевидно, что в последнем классе будет выколотчен излишек немецкого духа. Впрочем, и в самом училище св. Павла дух этот из года в год шел на убыль. Школьники-немцы составляли меньше половины, из школьной администрации немцы настойчиво вытеснялись.

Первые дни занятий в училище были сперва днями скорби, затем днями радости. Я шел в школу в новом с иголки форменном костюме, в новой фуражке с желтым кантом и с замечательным металлическим гербом, который между двух трилистников заключал сложные инициалы училища. За спиною у меня был новенький ранец, а в нем новенькие учеб-

ники в блестящих переплетах и красивый пенал со свежоотточенным карандашом, новенькой ручкой и резинкой. Я восторженно нес весь этот груз великолепия по длинной Успенской улице, радуясь, что путь до школы недалек. Мне казалось, что все прохожие глядят с изумлением, а некоторые, может быть, и с завистью на мое замечательное снаряжение. Доверчиво к с интересом я оглядывал все встречные лица. Но совершенно неожиданно высокий худой мальчик лет тринадцати, видимо, из мастерской, так как он нес что-то жестяное в руках, остановился перед пышным реалистиком в двух шагах, откинул назад голову, шумно отхаркнулся, обильно плюнул мне на плечо новенькой блузы, посмотрел на меня с презрением и, не сказав ни слова, прошел мимо. Что толкнуло его на такой поступок? Теперь мне это ясно. Обездоленный мальчишка в изорванной рубашке и в опорках на босую ногу, который должен выполнять грязные поручения хозяев, в то время как сынки их щеголяют в гимназических нарядах, выместил на мне свое чувство социального протеста. Но тогда мне было не до обобщений. Я долго вытирал плечо листьями каштана, кипел от бессильной обиды и последнюю часть пути совершил в омраченном настроении.

Второй удар ждал меня во дворе школы. «Петр Павлович, вот еще один, – кричали школьники, – тоже в форме, приготоишка несчастный». Что такое? Оказалось, вот что: так как приготовительный класс считался частной школой, то приготоишкам строжайше возбранялось носить форму. Петр Павлович, надзиратель с черной бородой, объяснил мне, что нужно снять герб, устранить канты, снять бляху и заменить пуговицы с орлами простыми костяными пуговицами. Так обрушилось на меня второе несчастье.

В этот день занятий в школе не было. Школьникинемцы, а с ними и многие другие собрались в лютеранской церкви, имя которой носила школа. Я сразу попал под опеку коренного мальчика, который оставался в приготовительном классе на второй год, знал все порядки и усадил меня рядом с собою на скамье кирхи. Я впервые слышал орган, и звуки его наполняли душу трепетом. Потом вышел высокий бритый человек с белыми отворотами, и голос его раскатывался по церкви так, что одна волна нагоняла другую. Непонятность языка удесатеряла величие проповеди. «Кто это говорит?» – спрашивал я с волнением. «Это сам пастор Биннеман, – объяснял мне Карльсон, – он ужасно умный человек, самый умный человек в Одессе». «А что он говорил?» «Ну, знаешь, все, что полагается, – с гораздо меньшим уже энтузиазмом объяснял Карльсон. – Что надо быть хорошим учеником, прилежно учиться и дружно жить с товарищами...» Этот скуластый почитатель Биннемана оказался упорным лентяем и страшным драчуном, который во время перемен насаживал синяки направо и налево.

Второй день принес утешение. Я сразу выделился по арифметике и хорошо списал с доски прописи. Учитель Руденко похвалил меня перед всем классом и поставил мне две пятерки. Это примирило меня с костяными пуговицами на куртке. Немецкий язык в младших классах преподавал сам директор, Христиан Христианович Шваннебах. Это был прилизанный чиновник, попавший на столь высокий пост только потому, что был он зятем самого Биннемана. Христиан Христианович начал с того, что осмотрел всем школьникам руки и нашел, что у меня руки чистые. Затем, когда я аккуратно скопировал с доски, директор одобрил меня и поставил мне пять. Так после первого же дня занятий я возвращался из школы отягощенный тремя пятерками. Я нес их в ранце, как драгоценный клад, не шел, а бежал на Покровский переулок, гонимый жаждой семейной славы.

Так я стал школьником. Я рано вставал, торопливо пил свой утренний чай, запихивал в карман пальто завернутый в бумажку завтрак и бежал в школу, чтоб поспеть к утренней молитве. Я не опаздывал. Я спокойно сидел за партой. Я внимательно слушал и тщательно списывал с доски. Я прилежно готовил дома свои уроки. Я ложился спать в положенный час, чтоб на другое утро торопливо пить свой чай и снова бежать в школу под страхом опоздать к

утренней молитве. Я аккуратно переходил из класса в класс. Встречая кого-либо из учителей на улице, я кланялся со всей возможной почтительностью.

Процент чудаков среди людей очень значителен, но особенно велик он среди учителей. В реальном училище св. Павла уровень учителей был, пожалуй, выше среднего. Училище считалось хорошим, и не без основания: режим был строгий, требовательный, вожжи из года в год натягивались туже, особенно после того как директорская власть из рук Шваннебаха перешла в руки Николая Антоновича Каминского. Это был физик по специальности, человеконенавистник по темпераменту. Он никогда не глядел на того, с кем говорил, двигался по коридорам и по классу неслышно, на резиновых подбивках, голосом ему служил небольшой сиплый фальцет, который, не повышаясь, умел наводить ужас. С внешней стороны Каминский казался ровным, но внутренне никогда не выходил из состояния отстоявшегося раздражения. Его отношение даже к лучшим ученикам было отношением вооруженного нейтралитета. Таким, в частности, было его отношение ко мне.

В качестве физика, Каминский изобрел собственный прибор для доказательства закона Бойля-Мариотта относительно упругости газов. После демонстрирования прибора всегда находилось два-три ученика, которые хорошо рассчитанным шепотом говорили друг другу: «Вот так здорово!». Кто-нибудь, приподнимаясь, как бы неуверенно спрашивал: «А кто изобретатель этого прибора?». Каминский отвечал небрежно своим простуженным фальцетом: «Я строил». Все переглядывались, а двоечники испускали возможно громкий вздох восхищения.

Когда Шваннебаха, в интересах русификации, заменили Каминским, в инспектора вышел Антон Васильевич Крыжановский, учитель словесности. Это был рыжебородый хитрец из семинаристов, большой любитель подарков, с чуть-чуть либеральным налетом, очень умело прикрывавший задние мысли наигранным добродушием. Получив назначение инспектора, он сразу стал строже и консервативнее. Крыжановский преподавал русский язык с первого класса. Меня он выделил за грамотность и любовь к языку. Мои письменные работы он, по твердо установившемуся правилу, прочитывал в классе вслух и ставил мне пять с плюсом.

Математик Юрченко был коренастый флегматик себе на уме, по прозвищу биндюжник, что на одесском наречии означает «извозчик-тяжеловоз». Юрченко всем говорил «ты» с первого класса до последнего и не стеснялся в выражениях. Своей уравновешенной грубоватостью он внушал к себе известного рода уважение, которое с течением времени, однако, рассеялось, когда мальчишки твердо узнали, что Юрченко берет взятки. В разной форме взятки брались, впрочем, и другими учителями. Неудавшийся школьник, если это был иногородний, помещался на квартиру к тому учителю, в котором был наиболее заинтересован. Если же ученик был местный, то брал у наиболее угрожающего ему педагога частные уроки по высокой цене.

Второй математик, Злотчанский, был противоположностью Юрченке: худой, с колючими усами на зеленовато-желтом лице, с всегда мутными белками глаз и усталыми движениями, точно спросонья, он то и дело шумно отхаркивался и отплеивался в классе. Про него известно было, что у него несчастный роман и что он кутит и пьет. Неплохой математик, Злотчанский, однако, глядел куда-то поверх учеников, поверх занятий и даже поверх самой математики. Несколько лет спустя он перерезал себе горло бритвой.

С обоими математиками у меня отношения были ровные и благоприятные, так как в математике я был силен. В последних классах реального училища я собирался даже пойти по чистой математике.

Историю преподавал Любимов, крупный и осанистый человек, с золотыми очками на небольшом носу и с мужественной молодой бородкой вокруг полного лица. Только когда он улыбался, открывалось внезапно и с полной очевидностью даже для нас, мальчиков, что

осанистость этого человека мнимая, что он слабоволен, робок, чем-то раздирается изнутри и боится, что об нем что-то знают или могут узнать.

В историю я втягивался с возраставшим, хотя и очень расплывчатым интересом. Я постепенно расширял круг своих занятий, отходя от жалких официальных учебников к университетским курсам или к тяжелым томам Шлоссера. В моем увлечении историей был, несомненно, элемент спорта: я заучивал множество ненужных имен и подробностей, обременительных для памяти, чтобы поставить иногда в затруднительное положение преподавателя. Руководить занятиями Любимов не был в состоянии. Во время уроков он иногда неожиданно вспыхивал огнем и злобно оглядывался вокруг, ловя шепот, будто бы произносивший оскорбительные для него слова. Класс удивленно настораживался. Любимов преподавал в одной из женских гимназий, и там тоже стали замечать за ним странности. Кончилось тем, что в припадке помешательства Любимов повесился на переплете окна.

Географа Жуковского боялись как огня. Он резал школьников, как автоматическая мясорубка. Во время уроков Жуковский требовал какой-то совершенно несбыточной тишины. Нередко, оборвав рассказ ученика, он настораживался с видом хищника, который прислушивается к звуку отдаленной опасности. Все знали, что это значит: нужно не шевелиться и по возможности не дышать. Один только раз на моей памяти Жуковский чуть-чуть поотпустил вожжи, кажется, это было в день его рождения. Кто-то из учеников сказал ему что-то полуприватное, т. е. не непосредственно относящееся к уроку. Жуковский стерпел. Это само по себе было событием. Немедленно же приподнялся Ваккер, подлипала, и, осклабясь, сказал: «У нас все говорят, что Любимов Жуковскому в подметки не годится». Жуковский сразу весь напрягся. «Что такое? Садитесь!». Воцарилась немедленно та особая тишина, которая бывала только на уроках географии. Ваккер присел, как под ударом. Со всех сторон к нему оборачивались укоризненные или брезгливые лица. «Ей богу, правда», — шепотом отвечал Ваккер, надеясь этим все-таки тронуть сердце географа, у которого он был на плохом счету.

Основным учителем немецкого языка был Струве, огромный немец с большой головой и бородой, доходившей до пояса. На маленьких, почти детских ножках этот человек переваливал свое тяжелое тело, которое казалось сосудом добродушия. Струве был честнейшим человеком, страдал неудачами своих учеников, волновался, уговаривал, горестно переживал каждую поставленную им двойку: до единицы он не спускался никогда; старался никого не оставлять на второй год и устроил в училище племянника своей кухарки, только что упомянутого Ваккера, который, впрочем, оказался малоспособным и еще менее привлекательным мальчиком. Струве был немножко смешной, но в общем симпатичной фигурой.

Французский язык преподавал Густав Самойлович Бюрнанд, — швейцарец, тощий человек с плоским, точно из-под тисков вышедшим профилем, с небольшой лысиной, с тонкими синими и недобрыми губами, острым носом и с таинственным большим шрамом в виде буквы икс на лбу. Бюрнанда все единодушно терпеть не могли, и было за что. Страдая несварением желудка, он глотал в течение урока какие-то конфетки и в каждом ученике видел личного врага. Шрам на его лбу служил постоянным источником догадок и гипотез. Утверждали, что в молодости Густав дрался на дуэли и противник успел рапирой начертать у него крест на лбу. Через несколько месяцев появились опровержения. Дуэли не было, а была хирургическая операция, при которой часть лба понадобилась для починки носа. Школьники тщательно вглядывались в нос француза и наиболее отважные утверждали, что ясно видят линию шва. Были спокойные умы, искавшие объяснения шраму в приключении раннего детства: упал с лестницы и расшибся. Но это объяснение отвергалось как слишком прозаическое. К тому же совершенно невозможно было представить себе Бюрнанда ребенком.

Старшим швейцаром, игравшим немалую роль в нашей жизни, был невозмутимый немец Антон с очень внушительными седеющими бакенбардами. По части опозданий, оставления без обеда, заключения в карцер Антон имел как будто лишь техническую, но на деле большую власть, и с ним надлежало сохранять дружественные отношения. Я, впрочем, относился к нему довольно безразлично, как и он ко мне, так как я не принадлежал к числу его клиентов: в школу я являлся аккуратно, ранец мой был в порядке и ученический билет уверенно покоился в левом кармане куртки. Но десятки учеников каждый день попадали в зависимость от Антона и разными путями покупали его благорасположение. Во всяком случае он для всех нас являлся одним из устоев реального училища св. Павла. Каково же было наше удивление, когда, вернувшись с каникул, мы узнали, что старик Антон стрелял в восемнадцатилетнюю дочь другого швейцара на почве страсти и ревности и сейчас сидит в тюрьме.

Так в размеренную жизнь школы и во всю тогдашнюю, загнанную внутрь общественную жизнь врывались отдельные личные катастрофы и порождали каждый раз чрезмерное впечатление, как вопль под пустыми сводами.

При церкви св. Павла существовал сиротский дом. Для него был выделен угол нашего училищного двора. В синей застиранной парусине, мальчики из приюта появлялись на дворе с нерадостными лицами, уныло бродили в своем углу и понуро поднимались по лестнице к себе. Несмотря на то что двор был общий и сиротский угол ничем не был отгорожен, реалисты и «воспитанники», как они назывались, представляли два совершенно замкнутых мира. Я пробовал раза два заговаривать с мальчиками в синей парусине, но они отвечали угрюмо, нехотя и торопились вернуться к себе: у них был строгий наказ не вмешиваться в дела реалистов. Так, в течение семи лет я гулял на этом дворе и не знал имени ни одного из сирот. Пастор Биннеман, надо полагать, благословлял их в начале года по сокращенному требнику.

В той части двора, которая примыкала к сиротскому дому, высились сложные гимнастические приспособления: кольца, шесты, лестницы, вертикальные и наклонные, трапеции, параллельные брусья и прочее. Вскоре после поступления в училище я хотел повторить прием, проделанный на моих глазах одним из мальчиков сиротского дома. Поднявшись по вертикальной лестнице к зацепившимся носками за верхнюю перекладину, я повис вниз головой и, захватив руками перекладину лестницы как можно ниже, оттолкнулся носками, чтобы, описав в воздухе дугу в 180 градусов, стать на землю упругим прыжком. Но я не выпустил вовремя из рук перекладины и, описавши дугу, всем телом ударился об лестницу. Грудь сдавило клещами, сперло дыхание, я извивался на земле, как червь, хватал за ноги стоящих вокруг мальчиков и потерял сознание. После этого я стал осторожнее с гимнастикой.

Я совсем мало жил жизнью улицы, площади, спорта и развлечений на открытом воздухе. Это я наверстывал на каникулах в деревне. Город представлялся мне созданным для занятий и чтения. Драки мальчиков на улице казались мне позором. Между тем недостатка в поводах не было никогда.

Гимназисты, за их серебристые пуговицы и гербы, назывались селедками, а медно-желтые реалисты именовались копченками. По Ямской, когда я возвращался домой, меня настойчиво преследовал долговязый гимназист, допрашивая: «Почем у вас копченки?» – и, не получая ответа на свой деловой вопрос, подталкивал меня плечом. «Чего вы ко мне пристааете?» – спросил я его тоном задыхающейся вежливости. Гимназист опешил, с минуту подумал, а потом спросил:

– А у вас рогатка есть?

– Рогатка, – переспросил я, – а что это такое? Долговязый гимназист молча вынул из кармана небольшой прибор: резину на деревянной развилке и кусок олова. «Я из окошка на крыше голубей бью, а потом жарю». Я глядел на своего нового знакомого с удивлением.

Такое занятие казалось мне небезынтересным, но все же неуместным и как бы неприличным в городской обстановке.

Многие из мальчиков катались на море в лодке, ловили с волнореза рыбу на уд. Я этих удовольствий совершенно не знал. Станным образом море в тот период вообще не занимало в моей жизни никакого места, хотя на берегу его я прожил семь лет. За все это время я ни разу не катался в лодке, не ловил рыбы и вообще встречался с морем только во время переездов в деревню и обратно. Когда Карльсон приходил в понедельник с загоревшим носом, на котором лупилась кожа, и хвалился, как он вчера ловил бычков с лодки, мне эти радости казались далекими и ко мне не относящимися. Во мне тогда еще не просыпался страстный охотник и рыболов.

В подготовительном классе я близко сошелся с Костей Р., сыном врача. Костя был на год моложе меня, меньше ростом, с виду тихоня, но шалун и плут, с острыми глазенками. Он знал хорошо город и имел в этой области большой перевес надо мной. Прилежанием он не отличался, а я как начал с первого дня, так и шел на пятерках. Дома Костя только и разговаривал, что о своем новом приятеле. Кончилось тем, что Костина мама, сухонькая, маленькая женщина, пришла к Фанни Соломоновне с просьбой: «Нельзя ли мальчикам заниматься вместе?». После совещания, к которому был привлечен и я, решили согласиться. В течение двух или трех лет мы сидели на одной парте, пока Костя не остался в классе на второй год и не оторвался этим от меня. Впрочем, связи сохранились и дальше.

У Кости была гимназистка сестра, года на два старше его. У сестры были подруги. У подруг братья. Сестры обучались музыке. Братья увивались вокруг подруг своих сестер. В дни рождения родители приглашали гостей. Создавался маленький мирок симпатий, соревнований, вальса, фантов, зависти и вражды. Центром этого мирка была семья богатого купца А., жившая в том же доме, что и семья Кости, и в том же этаже, так что коридоры квартир выходили во дворе на одну и ту же висячую галерею, на которой и происходили случайные и неслучайные встречи. В семье А. царила совсем другая атмосфера, чем та, к которой я привык в семье Шпенцера. Там всегда вращалось много гимназистов и гимназисток, которые упражнялись в ухаживании под снисходительную улыбку матери. В разговорах нередко упоминалось, кто к кому равнодушен. Я всегда обнаруживал к этому вопросу величайшее свое презрение, довольно, впрочем, лицемерное. «Когда вы в кого-нибудь влюбитесь, – говорила мне наставительно четырнадцатилетняя гимназистка, старшая из сестер А., – то вы мне обязаны это сказать». «Так как я ничем не рискую, то могу обещать», – ответил я со слегка высокомерным достоинством человека, который знает себе цену: я был уже во втором классе. Недели через две девочки ставили живые картины. Младшая из сестер на фоне большого черного платка, усеянного звездами из серебряной бумаги, изображала с приподнятой вверх рукой ночь. «Смотрите, какая она хорошенькая», – говорила старшая, слегка меня подталкивая. Я смотрел, внутренне соглашался и тут же внезапно решил про себя: пришел час выполнить обещание. Вскоре старшая подвергла меня допросу: «Вам нечего мне сказать?». Увы, потупя глаза, я ответил: «Есть».

– Кто же она?..

Но у меня не поворачивался язык. Она предложила мне назвать первую букву. Это было легче. Старшую звали Анной. Младшую сестру – Бертой. Я назвал вторую букву алфавита, а не первую.

– Бе? – повторила она с разочарованием, и на этом разговор прекратился.

На второй день я шел заниматься к Косте длинным коридором третьего этажа, как всегда, со двора. Еще с лестницы я заметил, что обе сестры с матерью сидят у своей двери на галерее. Когда мне оставалось несколько шагов до женской группы, я почувствовал, что на мне скрещиваются иглы иронических взглядов, которые пронизывают меня насквозь. Младшая не улыбалась, наоборот, отвела глаза куда-то в сторону с выражением ужасающего без-

различия. Это сразу убедило меня в том, что я предан. Мать и старшая подали мне руки с выражением, ясно говорившим: «Хорош, гусь, теперь мы знаем, что скрывается под твоей серьезностью», — а младшая протянула руку, как дощечку, не глядя на меня и не отвечая на пожатие. Мне предстояло после этого пройти кусок галереи, повернуть и продвигаться на виду у мучительниц вдоль всей поперечной стороны. Все время я чувствовал те же убийственные иглы за спиной. После такого неслыханного предательства я решил совершенно порвать с этим коварным племенем, не ходить к ним, забыть их, вырвать их навсегда из своего сердца. Мне помогли скоро наступившие каникулы.

Неожиданно для меня обнаружилось, что я близорук. Меня свели к главному врачу, и тот прописал мне очки. Нельзя сказать, чтобы это огорчило меня: как-никак очки придавали мне значительность. Я не без удовольствия предвкушал свое появление в очках в Яновке. Но для отца очки оказались невыносимым ударом. Он считал, что все это притворство и важничанье, и категорически потребовал, чтобы я снял очки. Напрасно я убеждал его, что не вижу в классе букв на доске и не разбираю на улице вывесок. Очки мне приходилось в Яновке носить только тайком.

Все же в деревне я был гораздо смелее, размахистее и предприимчивее. Я как бы отряхал дисциплину города со своих плеч. Я ездил один верхом в Бобринец и возвращался в тот же день к вечеру домой. Это составляло 50 километров. В Бобринце я показывал на улицах свои очки и не сомневался во впечатлении. В Бобринце было только мужское городское училище. Ближайшая гимназия была в Елизаветграде, в 50 километрах. В то же время в Бобринце была женская прогимназия. Партнерами гимназисток были ученики городского училища. Но летом дело менялось. Из Елизаветграда возвращались гимназисты и реалисты и оттесняли великолепием формы и изысканностью обращения учеников городского училища. Антагонизм был жестокий. Обиженные бобринецкие школьники группировались в небольшие ударные шайки и пускали при случае в дело не только палки и камни, но и ножи. Я безмятежно сидел на ветке шелковицы в саду у знакомой семьи и лакомился ягодами, как кто-то изрядным камнем из-за забора хватил меня по голове. Это был маленький эпизод долгой и небескровной борьбы, которая прерывалась только с отъездом привилегированного сословия из Бобринца на занятия. В Елизаветграде дело обстояло иначе. Там гимназисты и реалисты господствовали на улицах и в сердцах в течение учебного года. Но на лето из Харькова, Одессы и более отдаленных университетских городов возвращались студенты и сразу отодвигали гимназистов на задворки. Антагонизм и здесь был жестокий. Вероломство гимназисток было неопишимо. Но, по общему правилу, борьба велась преимущественно духовным мечом.

В деревне я играл в крокет и кегли, руководил фантами и говорил дерзости девицам. В деревне же я научился ездить на двухколесном велосипеде, целиком сделанном Иваном Васильевичем. Только благодаря этому и отважился позже упражняться на одесском треке. Мало того, в деревне я самостоятельно управлял кровным жеребцом, запряженным в бегунки. К этому времени в Яновке имелись уже хорошие выездные лошади. Я предлагаю прокатить дядю Бродского — пивовара. «А ты меня не опрокинешь?» — спрашивает дядя, который по всему своему характеру не склонен к отважным предприятиям. «Что вы, дядя», — говорю я таким возмущенным тоном, что дядя со вздохом, но безропотно садится за моей спиной. Я выезжаю через балку, мимо мельницы, по дороге, только что примятой летним дождем. Гнедому жеребцу хочется размаха, его раздражает, что ехать приходится в гору, и он сразу берет рывком. Я натягиваю вожжи, упираясь ногами в передок, и приподнимаюсь ровно на столько, чтобы не заметил дядя, что я вишу на вожжах. Но у жеребца есть своя амбиция. Он в три с лишним раза моложе меня, ему четыре года. Гнедой подхватывает в гору легкие бегунки с раздражением, как кошка, которая стремится удрать от привязанной к хвосту жестянки. Я чувствую, как дядя за моей спиной прекратил курение, чаще дышит и

собирается поставить ультиматум. Я сажусь плотнее, отпускаю гнедому вожжи и для придания себе полной уверенности прищелкиваю языком в такт селезенке, которая играет у гнедого на славу. «Не шали, мальчик», – покровительственно говорю я жеребцу, когда тот пробует перейти на галоп, и раздвигаю локти пошире. Я чувствую, что дядя успокоился и снова задышал папироской. Игра выиграна, хотя сердце мое екает, как селезенка гнедого.

Вернувшись в город, снова протягиваю шею в ярмо дисциплины. Я делаю это без большого усилия. Игры и спорт уступают место книгам и отчасти театру. Я подчиняюсь городу, почти не соприкасаясь с ним. Жизнь города проходит почти полностью мимо меня. Впрочем, не только мимо меня одного. И взрослые обыватели старались не слишком высовывать голову из окна. Одесса была, пожалуй, самым полицейским городом в полицейской России. Главным лицом в городе был градоначальник, бывший контр-адмирал Зеленой Второй. Неограниченная власть сочеталась в нем с необузданным темпераментом. О нем ходили неисчислимые анекдоты, которые одесситы передавали друг другу шепотом. За границей, в вольной типографии, вышел в те годы целый сборник рассказов о подвигах контр-адмирала Зеленого Второго. Я видел его только один раз, и то лишь со спины. Но этого было для меня вполне достаточно. Градоначальник стоял во весь рост в своем экипаже, хриплым голосом выпускал на всю улицу ругательства и потрясал вперед кулаком. Перед ним тянулись полицейские с руками у козырьков и дворники с шапками в руках, а из-за занавесок глядели перепуганные лица. Я подтянул ремни ранца и ускоренным шагом направился домой.

Когда я хочу восстановить в памяти образ официальной России в годы моей ранней юности, я вижу спину градоначальника, его протянутый в пространство кулак и слышу хриплые ругательства, которые не принято печатать в словарях.

Глава IV. КНИГИ И ПЕРВЫЕ КОНФЛИКТЫ

Природа и люди не только в школьные, но и в дальнейшие годы юности занимали в моем духовном обиходе меньшее место, чем книги и мысли. Несмотря на свое деревенское происхождение, я не был чуток к природе. Внимание к ней и понимание ее я развил в себе позже, когда не только детство, но и первая юность остались позади. Люди долго скользили по моему сознанию, как случайные тени. Я смотрел в себя и в книги, в которых искал опять-таки себя или свое будущее.

Чтение мое началось с 1887 г., со времени приезда в Яновку Моисея Филипповича, который привез в деревню пачку книг, среди которых были народные произведения Толстого. Вчитываться в книги на первых порах было не столько сладостным, сколько тяжким делом. Каждая новая книжка представляла новые препятствия: неизвестные слова, непонятные жизненные отношения, зыбкость, отделяющая реальное от фантастического. Спросить по большей части не у кого было. Я терялся, начинал, бросал и начинал снова, сочетая неуверенную радость познания с испугом перед неизвестным. Может быть, ближе всего можно сравнить мое тогдашнее чтение с ездой ночью по степным дорогам: слышен скрип колес, пересекающиеся голоса, костры у дороги выступают из тьмы; все как будто знакомо и в то же время непонятно, что происходит, кто и с чем едет, и даже неясно, куда сам едешь, вперед или назад. И нет никого, кто, подобно дяде Григорию, объяснил бы тебе: это наши чумаки пшеницу везут.

В Одессе выбор книг был несравненно более широкий и было руководство, внимательное и доброжелательное. Я стал читать запоем. На прогулку меня приходилось отрывать. На ходу я переживал прочитанное и спешил к продолжению. По вечерам упрашивал дать мне еще четверть часа, ну хотя бы пять минут, чтобы закончить главу. Каждый вечер происходили на этой почве небольшие препирательства.

Пробуждающаяся жажда видеть, знать, овладеть находила себе выход в этом неутоимом поглощении печатных строк, в этих всегда протянутых детских руках и губах к сосуду словесного вымысла. Все, что в дальнейшем жизнь давала интересного, захватывающего, радостного или скорбного, было уже заключено в переживаниях чтения, как намек, как обещание, как осторожный и легкий набросок карандашом или акварелью.

Чтение вслух по вечерам в первые годы моей жизни в Одессе составляло лучшие часы или, вернее, получасы между концом домашних занятий и сном. Читал Моисей Филиппович, обыкновенно Пушкина или Некрасова, чаще последнего. Но в положенный час Фанни Соломоновна говорила: «Пора тебе, Левушка, спать». Я глядел на нее с мольбой. «Надо, мальчик, спать», – говорил Моисей Филиппович. «Еще пять минут», – умолял я, и мне давали еще пять минут. После этого я целовался и уходил с таким чувством, что мог бы еще слушать чтение целую ночь, но засыпал, едва донесши голову до подушки.

Гимназистка восьмого класса, Софья, дальняя родственница, попала в семью Шпенцера на несколько недель, чтоб переждать scarlatinu в своей собственной семье. Это была очень способная и начитанная девица, правда, лишенная оригинальности и характера и скоро увядавшая. Я восторгался ею, открывая у нее каждый день все новые и новые знания и качества и непрерывно чувствуя свое полное ничтожество. Я переписывал для нее программу к экзаменам и вообще оказывал ей целый ряд мелких услуг. Зато в послеобеденные часы, когда старшие отдыхали, восьмиклассница читала со мной вслух, а затем мы стали вместе сочинять сатирическую поэму в стихах «Путешествие на луну». В работе этой я все время терял темп. Стоило мне внести какое-нибудь скромное предложение, как старшая сотрудница подхватывала мысль, быстро развивала ее, вносила варианты, легко подбирала

рифмы, таща меня за собой на буксире. Когда прошли положенные шесть недель и Софья возвратилась к себе, я чувствовал себя подростком.

Среди наиболее выдающихся знакомых семьи находился Сергей Иванович Сычевский, старый журналист, романтик и известный на юге знаток и истолкователь Шекспира. Это был даровитый, но спившийся человек. От того, что он сильно пил, его отношение к людям, даже к детям, было отношением виноватости. Он знал Фанни Соломоновну с юных лет и называл ее Фанюшкой. Сергей Иванович возлюбил меня крепко с первого разу. Расспросивши, что у нас проходят в школе, старик задал мне тему: сравнить «Поэт и книгопродавец» Пушкина и «Поэт и гражданин» Некрасова. Я обомлел. Второго произведения я даже не читал, а главное, я робел перед Сычевским, как перед писателем. Самое слово это звучало для меня с недостижимой высоты. «Мы сейчас это все прочтем», – сказал Сергей Иванович и тут же стал читать, а читал он прекрасно. «Понял? Ну вот и напиши». Меня усадили в кабинете, дали мне Пушкина и Некрасова, бумаги и чернил. «Да я не могу, – клялся я трагическим шепотом Фанни Соломоновне, – что я тут напишу?». «А ты не волнуйся», – отвечала она и гладила меня по голове. «Ты напиши, как понял, так просто и напиши». У нее была нежная рука и нежный голос. Я немного успокоился, т. е. кое-как совладал с напуганным своим самолюбием, и стал писать. Через час примерно меня потребовали к ответу. Я принес большую исписанную страницу и с таким трепетом, которого никогда не знал в училище, вручил ее писателю. Сергей Иванович пробежал несколько строк про себя, потом брызнул из глаз светлыми искрами на меня и воскликнул: «Но вы послушайте только, что он написал, вот молодчина-то какой», – и стал читать вслух: «Поэт жил с любимой им природой, каждый звук которой, и радостный и грустный, отражался у него в сердце». Сергей Иванович поднял палец вверх. «Ведь как сказал прекрасно: каждый звук которой, – слышите, – и радостный и грустный, отражался у поэта в сердце». И так эти слова врезались тогда в мое собственное сердце, что я запомнил их на всю жизнь.

За обедом Сергей Иванович много шутил, вспоминал, рассказывал, вдохновляясь рюмочкой: водка для него была наготове. Время от времени он взглядывал на меня через стол и восклицал: «Да как же это ты так хорошо все изложил, дай же я тебя поцелую», – и он начинал старательно вытирать салфеткой усы и губы, приподнимался со стула и неверными шагами пускался в обход стола. Я сидел, как под ударом катастрофы, радостной, но катастрофы. «Встань, Левочка, пойди к нему навстречу», – шепотом учил меня Моисей Филиппович. После обеда Сергей Иванович читал на память сатирический «Сон Попова». Я с напряжением глядел под седые усы, из-под которых выходили такие забавные слова. Полупьяное состояние писателя несколько не умаляло в моих глазах его авторитет. Дети обладают большой силой отвлечения.

Иногда перед сумерками я гулял с Моисеем Филипповичем, и, когда он бывал хорошо настроен, мы разговаривали о самых различных вещах. Однажды он излагал мне содержание оперы «Фауст», которую очень любил. Я ловил с жадностью рассказ, мечтая послушать когда-нибудь оперу на сцене. По тону рассказчика я почувствовал, что дело подходит к какому-то щекотливому пункту. Я волновался за рассказчика и боялся, что не узнаю продолжения. Но Моисей Филиппович совладал с собою и продолжал так: «Тут у Гретхен родился ребенок до брака...». Когда перевалили через рубеж, обоим нам стало легче, и повесть была благополучно доведена до конца.

Я лежал с перевязанным горлом и мне дали в утешение Диккенса «Оливер Твист». Первая же фраза доктора в родильном доме насчет того, что у женщины нет на руке кольца, поставила меня в тупик. «Что это значит? – спрашивал я Моисея Филипповича. – При чем тут кольцо?». «А это, – ответил он мне, замывшись, – когда невенчанные, тогда нет кольца». Я вспомнил Гретхен. И судьба Оливера Твиста разворачивалась в моем воображении из кольца, из того кольца, которого не было.

Запретный мир человеческих отношений толчками врвался в мое сознание через книги, и многое, уже слышанное в случайной, чаще всего грубой и непристойной форме, теперь через литературу обобщалось и облагораживалось, поднимаясь в какую-то более высокую область.

В это время волновала умы недавно появившаяся «Власть тьмы» Толстого. О ней говорили многозначительно, теряясь в суждениях. Победоносцев добился от Александра III недопущения пьесы в театры. Я знал, что Моисей Филиппович и Фанни Соломоновна после того, как я уходил спать, читали в соседней комнате драму: мне чуть слышен был гул голосов. «А мне можно прочесть?» – спрашивал я. «Нет, голубчик, тебе еще рановато», – ответили мне с такой категоричностью, что я больше не настаивал. Но я заметил, что новенькая тоненькая книжка появилась на знакомой мне полке. Пользуясь часами отсутствия старших, я в несколько приемов прочитал толстовскую драму. Она подействовала на меня далеко не так глубоко, как опасались, очевидно, мои воспитатели. Наиболее трагические места, как удушение ребенка и разговор о хрусте костей, воспринимались не как страшная реальность, а как книжное измышление, как выдумка для сцены, т. е. по существу дела, не воспринимались вовсе.

Во время каникул я натолкнулся на деревенском шкафу, под самым потолком, среди старых бумаг на привезенную из Елизаветграда старшим братом маленькую книжечку и, развернув ее, почуял в ней что-то необычное и тайное. Это был судебный отчет по делу об убийстве девочки на почве полового преступления. Я читал книжку, пересыпанную медицинскими и юридическими подробностями, в состоянии тревоги, точно ночью попал в лес, где наталкиваюсь на полуосвещенные луною призрачные деревья и не нахожу выхода. Но уже очень скоро это впечатление рассеялось. В человеческой психологии, особенно же в детской, есть свои буфера, тормоза, предохранительные клапаны и амортизаторы – большая и хорошо разработанная система, предохраняющая от слишком резких или несвоевременных сотрясений.

В театр я первый раз попал, будучи в подготовительном классе. Это было необыкновенно, и этого изобразить невозможно. Меня отправили на украинский спектакль в сопровождении училищного сторожа Григория Холода. Я сидел бледный как полотно – это Григорий потом докладывал Фанни Соломоновне – и мучился радостью, которой не мог вместить. Во время антрактов я не вставал с места, чтобы чего-нибудь, упаси боже, не упустить. В завершение ставился водевиль «Жилец с тромбоном». Напряжение драмы разрешилось здесь бурным смехом. Я качался на своем месте, запрокидывая голову, и снова впивался в сцену. Дома я излагал «Жильца с тромбоном», прибавляя все новые и новые подробности, чтобы вызвать тот самый смех, который я только что пережил. Но я с горечью убеждался, что не достигаю цели.

– Да тебе, видно, «Назар Стодоля» вовсе не понравился? – спросил Моисей Филиппович. Я почувствовал эти слова как внутренний упрек; я вспомнил страдания Назара и сказал: – Нет, это было совсем замечательно.

Перед третьим классом я жил недолго под Одессой, на даче у дяди-инженера, и попал на любительский спектакль, где слугу играл ученик нашего училища Кругляков. Это был слабогрудый, веснушчатый мальчик, с умными глазами, но совсем больной. Я привязался к нему всей душой и умолял его вместе со мной поставить какой-нибудь спектакль. Остановились на «Скупом рыцаре» Пушкина. Мне выпала роль сына, а Круглякову – отца. Я целиком подчинился его руководству и целыми днями заучивал пушкинские строфы. Какое это было сладостное волнение! Но скоро все рушилось: родители запретили Круглякову ставить спектакль из-за его здоровья. Когда занятия начались, он лишь в течение нескольких первых недель являлся в училище. Я каждый раз подстерегал его у выхода, чтобы иметь возможность – на обратном пути вести с ним литературные беседы. Но вскоре Кругляков

совсем исчез. Я узнал, что он болеет, а несколько месяцев спустя пришла весть, что он умер от чахотки.

Колдовство театра владело мною несколько лет. Позже я пристрастился к итальянской опере, которою очень гордилась Одесса. В шестом классе я стал даже давать платный урок только для того, чтобы иметь деньги на театр. В течение нескольких месяцев я был безмолвно влюблен в колоратурное сопрано, которое носило таинственное имя Джузеппины Утет и казалось мне временно сошедшим с небес на подмостки одесского театра.

Газет мне не полагалось читать, но на этот счет не было очень твердого режима, и постепенно, с несколькими отступлениями я завоевал себе право чтения газет, главным образом фельетона. В центре интересов одесской прессы стоял театр, главным образом опера, и важнейшие группировки общественного мнения шли, пожалуй, по линии театральных пристрастий. Только в этой области газетам дозволялось проявлять подобие темперамента.

В те дни высоко поднялась звезда фельетониста Дорошевича. Он стал в короткое время властителем дум, хотя писал о мелочах и нередко о пустяках. Но он был несомненный талант и дерзкой формой безобидных по существу фельетонов как бы приоткрывал отдушину из придавленной Зеленым Вторым Одессы. Я нетерпеливо набрасывался на утреннюю газету, ища подписи Дорошевича. В увлечении его статьями сходились тогда и умеренные либеральные отцы, и еще не успевшие стать неумеренными дети,

Любовь к слову сопровождала меня с ранних лет, то ослабевая, то нарастая, а вообще несомненно укрепляясь. Писатели, журналисты, артисты оставались для меня самым привлекательным миром, в который доступ открыт только самым избранным.

Во втором классе мы затеяли журнал. Я об этом много советовался с Моисеем Филипповичем, который придумал даже и заглавие – «Капля». Мысль была такова: второй класс реального училища святого Павла вносит свою каплю в океан литературы. Я написал на эту тему стихотворение, исполнявшее обязанности программной статьи. Были стихи и рассказы, по большей части мои же. Один из рисовальщиков украсил обложку сложным орнаментом. Кто-то предложил показать «Каплю» Крыжановскому. Эту миссию взял на себя Ю., живший у Крыжановского на квартире. Он выполнил задачу с блеском: встал со своего места, подошел к кафедре, твердо положил на нее «Каплю», вежливо поклонился и твердыми шагами вернулся обратно. Все замерли. Крыжановский посмотрел на обложку, погримасничал усами, бровями и бородой и молча стал читать про себя. В классе стояла полная тишина, только чуть шуршали страницы «Капли». Потом Крыжановский встал с кафедры и очень проникновенно прочитал мою «Капельку чистую». «Хорошо?» – спросил он. «Хорошо», – ответил довольно дружный хор. «Хорошо-то хорошо, – сказал Крыжановский, – только автор стихосложения не знает. Ну-ка, знаешь ты, что такое дактиль?» – обратился он ко мне, загадав автора за прозрачным псевдонимом. «Нет, не знаю», – признался я. «Ну так я расскажу». И забросив на несколько уроков грамматику и синтаксис, Крыжановский разъяснял второклассникам тайны метрического стихосложения. «А насчет журнала, – сказал он под конец, – лучше пусть это будет не журнал, и океана словесности не надо, а пусть это будет просто тетрадка ваших упражнений». Дело в том, что школьные журналы были запрещены. Но вопрос разрешился с другого конца. Мирное течение моих занятий неожиданно прервалось: я оказался исключен из реального училища св. Павла.

У меня было с детских лет немало конфликтов в жизни, выраставших, как сказал бы юрист, на почве борьбы за поправное право. Этим же мотивом определялись нередко схождения и разрывы с товарищами. Перечислять отдельные эпизоды было бы долго. Но были в школе две истории более крупного порядка.

Самый большой конфликт разыгрался у меня во втором классе с Бюрнандом, которого называли французом, хотя он был швейцарцем. Немецкий язык в школе до некоторой степени соперничал с русским. Наоборот, с французским языком дело шло туго. Большинство

учеников знакомились с французским языком впервые в школе, а немцам-колонистам он давался особенно туго. Бюрнанд вел против немцев жестокую войну. Излюбленной его жертвой был Ваккер. Учился последний действительно слабо. Но на этот раз у многих, если не у всех, было такое впечатление, что Бюрнанд зря поставил Ваккеру единицу. Бюрнанд вообще в этот день свирепствовал, поглощая двойное количество пищеварительных конфет.

«Устроим ему концерт», – зашептались школьники, перемигиваясь и подталкивая друг друга локтями. Я был в их числе не на последнем месте, может быть, даже на первом. Такие концерты устраивались иногда и раньше, особенно в честь учителя рисования, которого не любили за злую глупость. Устроить концерт значило проводить учителя, когда он направляется к выходу, дружным подвыванием, не разжимая губ, чтобы по виду нельзя было определить, кто участвует в хоре. Раз-два провожали так и Бюрнанда, но слегка, под сурдинку, так как его боялись. На этот раз набрались, однако, решимости. Едва француз захватил под мышку журнал, как с крайнего фланга начался вой, докатившийся дружной волной до парты у двери. Я, со своей стороны, делал, что мог. Бюрнанд, уже занесший ногу за дверь, быстро повернулся и, вбежав на середину класса, зелено-бледный, стоял лицом к лицу с врагами, мечая искры, но не произнося ни слова. Мальчишки за партами приняли как можно более невинный вид, особенно передние; задние копошились в ранцах, точно ничего не произошло. Постояв с полминуты, Бюрнанд с таким неистовством повернулся к выходу, что фалды его фрака развевались, как паруса. Француза провожал на этот раз единодушный вдохновенный вой, догонявший его далеко в коридоре.

В начале следующего часа в класс прибыли Бюрнанд, Шваннебах и классный надзиратель Майер, которого в просторечии называли бараном за выпученные глаза, крепкий лоб и тупость. Шваннебах произнес некоторое подобие вступительной речи, тщательно обходя подводные рифы русских залогов и падежей. Бюрнанд дышал жадной мести. Майер перебирал выпученными глазами лица школьников, выкликая наиболее шаловливых и приговаривая: «Ты уж, наверное, был при этом». Одни отнекивались, другие молчали. Таким путем оставили в классе «без обеда», кого на час, а кого на два, мальчиков десять – пятнадцать. Остальных отпустили, и в их числе меня, хотя Бюрнанд, как мне показалось, и метнул п меня при перекличке испытующий взгляд. Я не сделал ничего, чтоб добиться освобождения. Но и не донес на себя. Уходил я из класса скорее с сожалением, так как остаться со всеми казалось веселее.

На другое утро, когда я шел в школу, наполовину позабыв о вчерашней истории, у ворот меня встретил одноклассник из группы пострадавших. «Слушай, – сказал он мне, – тебе будет беда, вчера Данилов на тебя донес Майеру, Майер вызвал Бюрнанда, потом пришел директор, допытывались, ты ли был зачинщиком».

У меня упало сердце. А тут как раз надзиратель Петр Павлович: «Ступайте к директору». То, что надзиратель поджидал меня у порога, и тон, каким он обратился ко мне, не предвещало ничего хорошего. Расспрашивая путь у швейцаров, я прошел в тот неведомый для меня коридор, где помещалась директорская, и остановился у двери. Проходя мимо, директор поглядел на меня значительно и покачал головой. Я стоял ни жив ни мертв. Директор снова появился из кабинета и бросил только: «Хорошо, хорошо». Я понимал, что на самом деле это нехорошо. Через несколько минут учителя стали расходиться из соседней учительской, большинство проходило в свой класс, спеша и не замечая меня. Крыжановский в ответ на мой поклон сделал хитрую гримасу, которая должна была означать: «Попался ты в историю, и жаль тебя, да ничего не поделаешь». Бюрнанд же после моего вежливого поклона свернул ко мне вплотную, нагнув надо мною злую бороденку и разбрасывая руки, сказал: «Первый ученик второго класса – нравственный урод». Потом постоял, обдавая несвежим дыханием и повторив: «Нравственный урод», – повернулся и ушел. Через некоторое время подошел и Баран: «Так вот ты какой гусь, – сказал он с видимым удовольствием, – мы

тебе покажем». И тут началась для меня долгая пытка. В моем классе, куда меня не допускали, занятий не было: там шли допросы. Бюрнанд, директор, Майер, инспектор Каминский создали верховную следственную комиссию по делу о нравственном уроде.

Началось, как оказывается, с того, что один из школьников во время отсидки сказал Майеру: «Несправедливо нас оставили: кто кричал, того отпустили. Б. других подбивал и сам кричал, а его отпустили домой, вот и Карльсон знает». «Не может быть, – отвечал Майер, – Б. – исправный мальчик». Но Карльсон, тот самый, что рекомендовал мне Биннемана как самого умного человека в Одессе, подтвердил, за ним еще некоторые. Тогда Майер вызвал Бюрнанда. Поощряемые и подталкиваемые сверху, заражая друг друга своим примером, выделились в классе доносчики, человек десять – двенадцать.

Начали припоминать все: в прошлом году Б. сказал того на прогулке про директора; Б. такому-то подсказывал; Б. участвовал в концерте Змигродскому. Ваккер, из-за которого разыгралось все дело, умильно рассказывал: «Я, как известно, плакал, что Густав Самойлович поставил мне единицу, а Б. подошел ко мне, положил руку на плечо и сказал: не плачь, Ваккер, мы напишем попечителю такое письмо, что он прогонит Бюрнанда». «Кому письмо?» – «Попечителю!» – «Не может быть! А ты что сказал?» – «Я, конечно, ничего не сказал». Данилов подхватывал: «Да, да, Б. предлагал написать письмо попечителю учебного округа, но не подписываться фамилиями, чтобы не исключили, а чтоб каждый написал в письме по букве». «Ах, вот как, – захлебывался Бюрнанд, – каждый по букве?». Допрашивали всех без исключения. Часть мальчиков отрицала наотрез и то, чего не было, и то, что было. Среди них Костя Р., который горько плакал, видя, как топят его лучшего друга, первого ученика. Этих упорных отрицателей доносители компрометировали как моих друзей. В классе царила паника. Большинство замкнулось и молчало. Данилов играл в классе первую скрипку, чего с ним никогда не бывало, ни раньше, ни позже. Я стоял в коридоре возле директорской, у желтого полированного шкафа, как тяжкий государственный преступник. Туда вызывали по очереди главных свидетелей на очную ставку с обвиняемым. Кончилось тем, что меня отправили домой.

- Ступайте и скажите вашим родителям, чтобы они явились в училище.
- Мои родители далеко, в деревне.
- Тогда вашим воспитателям.

Еще вчера я был бесспорным первым учеником, на большом расстоянии от второго. Даже подозрение Майера не коснулось меня. А сегодня я низвержен, и Данилов, известный своею леностью и испорченностью, попирает меня перед лицом класса и школьных властей. Что случилось? То, что я слишком энергично вступился за обиженного, который не был мне близок и сам по себе не внушал мне симпатии? То, что я слишком понадеялся на солидарность класса? Мне было, впрочем, не до обобщений, когда я возвращался в Покровский переулок. С перекошенным лицом, с замирающим сердцем, захлебываясь в словах и слезах, рассказывал я, как все было. Мои воспитатели утешали меня, как могли, хотя сами были очень напуганы. Фанни Соломоновна ходила к директору, к инспектору Крыжановскому, к Юрченко, объяснялась, убеждала, ссылаясь на собственный педагогический опыт. Все это делалось без моего ведома. Я сидел у себя в углу, застегнутый ранец лежал на столе, я тосковал. Так проходили дни. Чем это кончится? Директор сказал: будет созван педагогический совет для рассмотрения вопроса, в полном объеме. Это звучало грозно. Заседание состоялось. За решением ходил Моисей Филиппович. Я ждал его возвращения с гораздо большим волнением, чем впоследствии приговора царского суда. Стукнула знакомым стуком входная дверь внизу, знакомые шаги поднялись по чугунным ступенькам, открылась дверь в столовую, и одновременно из следующей комнаты появилась навстречу Фанни Соломоновна. Я чуть приподнял свою занавеску. «Исключили», – сказал Моисей Филиппович тоном большой усталости. «Исключили?» – переспросила Фанни Соломоновна, задыхаясь. «Исклю-

чили», – еще ниже подтвердил Моисей Филиппович. Я ничего не сказал. Я повел глазами на Моисея Филипповича и Фанни Соломоновну и вернулся за свою занавеску. Летом, на каникулах, гостившая в Яновке Фанни Соломоновна рассказывала про меня: «Когда прозвучало это слово, он весь позеленел, так, что я испугалась за него». Я не плакал, я томился.

На педагогическом совете была борьба из-за трех видов исключения: без права поступления в какое бы то ни было учебное заведение, без права поступления в реальное училище св. Павла и, наконец, с правом возвращения в него. Остановились на последней, наиболее мягкой форме. Я с содроганием думал о том, как примут всю эту историю отец с матерью. Мои воспитатели сделали все, что можно было, чтобы подготовить и смягчить удар. Фанни Соломоновна написала старшей сестре обширное письмо с инструкцией насчет осведомления родителей. До конца учебного года я оставался в Одессе и приехал на каникулы, как всегда. Длинными вечерами, когда отец с матерью уже спали, я рассказывал сестре и старшему брату, как все было, изображая в лицах учителей и учеников. В брате и сестре еще слишком свежи были воспоминания о собственной учебе. В то же время они глядели на меня, как старшие. То покачивали головами, то хохотали над моим рассказом. От смеху сестра перешла к слезам и долго плакала, уткнувшись головою в стол. Решено было, что я уеду куда-нибудь на неделю – на две в гости, а в мое отсутствие сестра расскажет все отцу. Она сама пугалась этой миссии. После неудачи с учением старшего брата честолюбие отца сосредоточилось на мне. Первые годы обещали полный успех, и вдруг все пошло под откос...

Вернувшись через неделю из гостей со своим приятелем Гришей, внуком Моисея Харитоновича, у которого правая рука для концертов, я сразу понял, что все уже известно. Мать приветливо встретила Гришу, но сделала вид, что не замечает меня совсем. Отец, наоборот, держал себя так, как будто ничего не произошло. Только несколько дней спустя, вернувшись в жаркий день с поля и отдыхая в прохладных сениях, отец вдруг спросил меня при матери: «Ты мне скажи, как ты свистал своему директору? Вот так: два пальца в рот?» – показал он сам и вдруг рассмеялся. Мать с удивлением глядела то на отца, то на меня. На лице ее улыбка боролась с возмущением: можно ли так легко говорить о столь страшных вещах? Но отец продолжал допрашивать: «Покажи, как ты свистал?». И все веселее смеялся. Как он ни был огорчен, ему, очевидно, все-таки нравилась мысль, что его отпрыск, несмотря на звание первого ученика, дерзнул свистать высоким начальникам. Напрасно я заверял его, что свисту не было, а был только мирный, совершенно безобидный вой. Отец настаивал на свисте. Кончилось тем, что мать заплакала.

К экзаменам я летом почти не готовился. То, что произошло, отшибло у меня временно вкус к учению. Я провел беспокойное лето, с постоянными вспышками ссор, и вернулся в Одессу недели за две до экзаменов, но и здесь занимался вяло. Старательнее всего я готовился, пожалуй, по французскому языку. Но на экзамене Бюрнанд ограничился несколькими беглыми вопросами. Другие спрашивали и того меньше. Меня приняли в третий класс. Я встретил там большинство тех самых учеников, которые выдавали меня, или защищали, или держались в стороне. Это определило личные отношения надолго. Со многими я не разговаривал и не здоровался, зато с теми, которые поддерживали меня в трудные минуты, сблизился теснее.

Таково было первое, в своем роде политическое испытание. Группировки, которые сложились вокруг этого эпизода: ябедники и завистники на одном полюсе; открытые, отважные мальчишки – на другом, и нейтральная, зыбкая, неустойчивая масса посередине – эти три группировки далеко не полностью рассосались и в течение последующих лет. В дальнейшей своей жизни я встречал их не раз, в самых различных условиях.

Еще не весь снег убрали с улиц, но было уже тепло. Крыши, деревья и воробьи дышали уже весною. Ученик четвертого класса возвращался из училища, держа, против всех правил, один ремешок ранца в руках, потому что оторвался крючок. Длинное пальто ощущалось

лишним, ненужным, тяжелым, от него по всему телу шла испарина. Вместе с испариной шло томление. Мальчик по-новому видел все вокруг и прежде всего себя. Весеннее солнце внушало, что есть что-то неизмеримо более могущественное, чем школа, инспектор и неправильно сидящий на спине ранец, чем учение, шахматы, обеды, даже чтение и театр, чем вся вообще повседневная жизнь. И тоска по этому неизведанному, повелительному, возвышающемуся над отдельным человеком охватила существо мальчика до самой сердцевины костей и вызвала сладкую боль изнеможения.

Домой он пришел с гудящей головой, с болезненной музыкой в висках, сбросил ранец на стол, лег на кровать и незаметно для себя стал плакать в подушку. Чтоб дать оправдание слезам, он стал вспоминать жалостные сцены из книг и из собственной жизни, как бы подбрасывая свежего топлива в топку, и плакал, и плакал слезами весенней тоски. Шел ему тогда 14-й год.

С детских лет мальчик болел болезнью, которую врачи в официальных свидетельствах называли хроническим катаром желудочно-кишечного тракта и которая тесно переплеталась со всей его жизнью. Ему часто приходилось глотать лекарства и соблюдать диету. Нервные толчки почти всегда сказывались на кишечнике. В четвертом классе болезнь так обострилась, что парализовала занятия. После длительного, но безуспешного лечения врачи присудили: отправить больного в деревню.

Приговор врачей я принял в тот момент скорее с удовольствием, чем с огорчением. Но нужно еще было завоевать согласие родителей. Нужно было добыть в деревню репетитора, чтобы не потерять учебного года. Это означало лишние расходы, а лишних расходов в Яновке не любили. Но при помощи Моисея Филипповича дело было в конце концов улажено. Репетитора нашли в лице бывшего студента Г., маленького человека с пышной шевелюрой, изрядно поседевшей на висках. Это был чуть-чуть тщеславный, чуть-чуть фантастический, разговорчивый и бесхарактерный человек из категории неудачников с полуниверситетским образованием. Он писал стихи и даже напечатал два из них в одесской газете. Оба номера были всегда при нем, и он их охотно показывал. Со мной отношения у него были порывистые, с постоянной тенденцией к ухудшению. Сперва Г. входил со мною во все более фамильярные отношения, настаивая по каждому поводу, что хочет быть моим другом. С этой целью он показывал мне карточку некоей Клавдии и говорил о своих с ней сложных отношениях. Потом он внезапно отступал и требовал с моей стороны почтительности ученика к учителю. Кончился этот сумбур плохо: бурной ссорой и полным разрывом. Но и эпизод с репетитором не прошел бесследно. Как-никак, человек с седеющими висками поверял меня в тайны своих отношений к женщине, которая на карточке выглядела очень внушительно. Я почувствовал себя более взрослым.

В старших классах преподавание литературы перешло из рук Крыжановского в руки Гамова. Это был молодой еще, пухлый, очень близорукий и болезненный блондин без всякого огонька и без любви к предмету. Мы уныло ковыляли за ним от главы до главы. В довершение Гамов был еще и неаккуратен и затягивал до крайности просмотр наших письменных работ. В пятом классе полагалось в год четыре домашних «сочинения». К ним я чувствовал возрастающее пристрастие. Я прочитывал не только те пособия, которые указывал преподаватель, но и ряд других книг, выписывал факты и цитаты, переделывал и присваивал понравившиеся мне фразы, вообще работал с увлечением, не всегда останавливавшимся на границе невинного плагиата. Было еще несколько учеников, которые относились к сочинениям не как к неприятной обузе. Волнуясь, — одни с тревогой, другие с надеждой — ждал пятый класс оценки своей работы. Но оценка не приходила. То же повторилось и во второй четверти года. В третьей четверти я подал сочинение в виде целой тетради. Прошла неделя, другая, третья — о нашей работе по-прежнему ни слуху ни духу. Гамову осторожно напомнили. Он ответил уклончивой фразой. На следующем уроке Яблоновский, тоже один из ревностных

сочинителей, спросил Гамова в упор: чем объясняется, что нам не удастся узнать судьбу наших письменных работ, и что с ними, собственно, происходит? Гамов его резко оборвал. Яблоновский не сдался. Сдвинув свои и без того сросшиеся брови, он стал нервно дергать верхнюю доску парты и, повысив голос, повторял, что так работать нельзя. «Я предлагаю вам замолчать и сесть», – ответил Гамов. Но Яблоновский не садился и не умолкал. «Потрудитесь выйти из класса», – кричал на него Гамов. Отношения с Яблоновским у меня были давно испорчены. История с Бюрнандом во втором классе сделала меня осторожнее. Но тут я почувствовал, что молчать нельзя. «Антон Михайлович, – заявил я, – Яблоновский прав, мы все его поддерживаем...» «Правильно», – послышались голоса. Гамов сперва растерялся, а потом рассвирепел. «Что это такое? – кричал он не своим голосом, – я сам знаю, когда и что нужно делать... Вы мне не указ. Вы нарушаете порядок...» Мы попали в его больное место.

– Мы хотим видеть свои сочинения, и только, – поднялся третий.

Гамов был вне себя. «Яблоновский, ступайте вон из класса». Яблоновский не двигался с места. «Да иди, иди, чего тебе», – подсказывали ему шепотом с разных концов. Передергивая плечами, вращая белками на смуглом лице и стуча башмаками, Яблоновский вышел из класса, изо всех сил хлопнув дверью. В начале следующего часа в класс неслышно въехал на своих резиновых подошвах Каминский. Это не предвещало ничего хорошего. Воцарилась тишина. Сипловатым фальцетом, точно с перепоем, директор сделал краткое, но строжайшее внушение, с угрозой исключения из школы, и объявил кару: Яблоновского – в карцер на двадцать четыре часа с тройкой по поведению, меня – на двадцать четыре часа и третьего из протестантов – на двенадцать часов. Таков был второй ухаб на моем учебном пути. Более значительных последствий дело на этот раз не имело. Гамов наших сочинений так и не вернул нам. Мы махнули на них рукой.

В этом самом году умер царь. Событие казалось громадным, даже невероятным, но далеким, вроде землетрясения в чужой стране. Сожаления к больному царю, симпатий к нему и горя по поводу его смерти не было ни у меня, ни вокруг меня. Когда на другой день я пришел в училище, там царило нечто вроде большой беспричинной паники. «Царь умер», – говорили школьники друг другу и не знали, что прибавить, не находили, как выразить свое чувство, ибо не знали, в чем оно, собственно, состоит. Зато знали, что занятий не будет, и тихонько про себя радовались, особенно те, которые не приготовили уроков или боялись вызова к доске. Всех приходивших швейцар направлял в большой зал, где подготавливались к панихиде. Поп в золотых очках сказал несколько приличествующих слов: дети скорбят, когда умирает отец; насколько же больше скорбь, когда умирает отец всего народа. Но скорби не было. Панихида длилась долго. Это было томительно и скучно. Всем приказали нашить себе траур на левом рукаве и покрыть крепом герб на фуражке. В остальном все пошло по старому.

В пятом классе школьники уже начинали обмениваться мыслями о высшем учебном заведении, о выборе дальнейшего пути. Много было разговоров о конкурсных экзаменах, о том, как режут петербургские профессора, какие задают забористые задачи и какие есть петербургские специалисты по натаскиванию экзаменующихся. Были среди старших такие, которые ездили в Петербург из года в год, проваливались, снова готовились и снова проделывали тот же путь. При мысли об этих будущих испытаниях у многих сердце застывало за два года вперед.

Шестой класс прошел без приключений. Всем хотелось поскорее дотянуть лямку школы. Выпускные экзамены имели торжественный характер: в актовом зале и с участием университетских профессоров, командированных учебным округом. Директор каждый раз торжественно вскрывал пришедший от попечителя пакет, в котором заключалась тема письменной работы. После ее оглашения раздавался общий вздох испуга, точно всех сразу погружали в холодную воду. От нервного напряжения казалось, что задача совершенно не по

силам. Но дальше обнаруживалось, что дело не так страшно. К концу положенных двух часов учителя помогали нам обманывать бдительность округа. Закончив свою работу, я не сдавал ее, а оставался, по молчаливому соглашению с инспектором Крыжановским, в зале и вступал в оживленную переписку с теми, у кого дело обстояло неблагополучно.

Седьмой класс считался дополнительным. При училище св. Павла седьмого класса не было, надо было переводиться в другое училище. В промежутке мы оказывались вольными гражданами. Каждый готовил себе на этот случай штатское платье. В день получения свидетельств мы вечером заседали уже большой группой в летнем саду, где пели на эстраде певички и куда вход ученикам был строго запрещен. У всех были галстуки, на столе две бутылки пива, во рту папироски. Мы сами в душе пугались собственной смелости. Не успели мы раскупорить первую из бутылок, как у нашего стола появился классный надзиратель Вильгельм, который за блеющий голос назывался Козой. Мы сделали инстинктивное движение встать, и у всех слегка екнули сердца. Но дело обошлось благополучно. «Вы уже тут?» – сказал Вильгельм с оттенком прискорбия и милостиво пожал нам руки.

Старший из нас, К., с перстнем на мизинце, развязно предложил надзирателю выпить с нами пива. Это было уже слишком. Вильгельм с достоинством отказался, и поспешно, простившись, удалился на розыски школьников, переступивших запретный порог сада. С удвоенным самосознанием мы приступили к пиву.

Семь лет, проведенных мною в реальном училище, начиная с приготовительного класса, не лишены были и радостей. Но видно их было меньше, чем горестей. В общем память об училище осталась окрашенной если не в черный, то в серый цвет. Над всеми школьными эпизодами, и горестными, и радостными, возвышался режим бездушия и чиновничьего формализма. Трудно назвать хоть одного преподавателя, о котором я мог бы по настоящему вспомнить с любовью. А между тем наше училище было не худшим. Кое-чему оно меня все же научило: оно дало элементарные знания, привычку к систематическому труду и внешнюю дисциплину. Все это понадобилось в дальнейшем. Оно же, наперекор своему прямому назначению, посеяло во мне семена вражды к тому, что существует. Эти семена попали, во всяком случае, не на каменистую почву.

Глава V. ДЕРЕВНЯ И ГОРОД

В деревне я провел безвыездно первые девять лет своей жизни. В течение следующих семи лет я ежегодно приезжал сюда на лето, иногда на Рождество и на Пасху. Почти до 18 лет я был тесно связан с Яновкой и с тем, что ее окружало. В первые годы детства влияние деревни было всесильно. В следующий период оно боролось с влиянием города и по всей линии отступало перед ним.

Деревня дала знакомство с сельским хозяйством, с мельницей, с американской сноповязалкой. Деревня сблизилась с мужиками, и местными, и приезжавшими на мельницу, и дальними, из украинских губерний, приходившими с косой и с торбой за плечами на заработки. Многое из деревенского потом как бы забылось, затерлось в памяти, но при каждом повороте жизни всплывало то одно, то другое и кое в чем помогало.

Деревня показала в натуре типы дворянского оскудения и капиталистической наживы. Она раскрыла многие стороны человеческих отношений в их естественной грубости и тем дала ярче почувствовать другой тип культуры, городской, более высокой, но и более противоречивой.

Уже первые каникулы как бы свели в моем сознании город и деревню на очную ставку. Я ехал домой с величайшим нетерпением. Сердце прыгало от радости. Я стремился всех снова увидеть и всем показать себя. В Новом Буге меня встретил отец. Я предъявил ему свои пятерки и объяснил, что теперь я в первом классе и что мне необходим парадный мундир. Ехали ночью в фургоне, за кучера сидел молодой приказчик. В степи, особенно в балках, тянуло сырым холодком, и меня завернули в большую бурку. Опьяненный переменой обстановки, ездой, воспоминаниями, впечатлениями, я неутомимо рассказывал: про школу, про баню, про своего приятеля Костю Р., про театр. Не умолкая ни на минуту, я изложил сперва «Назара Стодолу», затем «Жильца с тромбоном». Отец слушал, моментами дремал, встряхивался и довольно смеялся. Молодой приказчик время от времени крутил головою и оглядывался на хозяина: вот это так рассказ. Под утро я уснул и проснулся в Яновке. Дом мне показался ужасно маленьким, деревенский пшеничный хлеб – серым и весь деревенский обиход – и своим и чужим. Я рассказывал матери и сестрам про театр, но уже не с таким рвением, как ночью отцу. В мастерской я нашел Витю и Давида почти неузнаваемыми, они очень выросли и окрепли. Но и я показался им другим. Они стали сразу мне говорить «вы». Я запротестовал.

– Ну, а как же? – отвечал смуглый, худой и тихий Давид. – Теперь вы ученый.

Иван Васильевич тем временем женился. Людскую кухню переделали в квартиру для него рядом с мастерской, а кухню перевели в новую землянку, позади мастерской.

Но дело было не в этом. Между мною и тем, с чем было связано мое детство, встало стеной нечто новое. Все было и то и не то. Вещи и люди казались подмененными. Конечно, за год кое-что изменилось на деле. Но гораздо больше изменился мой глаз. С этого первого приезда стало обнаруживаться нечто вроде отчуждения между мной и семьей, сперва в мелочах, а с годами – серьезнее и глубже.

Двойственность влияний, исходивших от города и деревни, окрашивала весь период моего ученья. В городе я чувствовал себя несравненно ровнее в отношениях с людьми и за вычетом отдельных, но зато уже бурных конфликтов, как со школьным французом или со словесником, довольно ровно шел на вожжах семейной и школьной дисциплины. Причиной тому был не только уклад в семье Шпенцера, где царили разумная требовательность и сравнительно высокие критерии личных отношений, но и весь уклад городской жизни вообще. Правда, противоречия ее были никак не меньше деревенских, наоборот, больше, но в городе они были более прикрыты, упорядочены и регламентированы. Люди разных классов сопри-

касались только в деловой сфере, а дальше исчезали друг для друга. В деревне же все были друг у друга на виду. Рабская зависимость одного человека от другого торчала здесь наружу, как пружина из старого дивана. В деревне я отличался гораздо большей неровностью и сварливостью. Даже с Фанни Соломоновной, когда она гостила в деревне и осторожно выступала на стороне матери или сестры, я нередко ссорился и временами дерзил ей, хотя в городе сохранял по отношению к ней не только хорошие, но и нежные отношения. Конфликты возникали иногда по пустякам. Но часто в основе их было нечто более значительное.

Я в свежeweымытой парусине, в кожаном поясе с медной бляхой, на белом картузе желтый герб, сверкающий на солнце, – одно великолепие. Это надо показать всем. Я выезжаю с отцом в поле в самый разгар уборки озимой пшеницы. Старший косарь, Архип, угрюмый и в то же время мягкий, идет первый по бугру, за ним 11 косарей и 12 вязальниц. 12 кос режут озимую и накаленный воздух. Архип в портах на одной роговой пуговице. Вязальники в рванных юбках или в одних суровых рубашках. Издали звук кос кажется звоном жары.

«А ну, дай-ка, – говорит отец, – попробую я, яка озима солома...» Он берет у Архипа косу и заступает его место. Я гляжу с волнением. Отец делает движения простые, домашние, как будто не работает, а только готовится к работе, и шаги делает легкие, пробные, будто только выискивая, на каком бы месте размахнуться. Коса у него ходит просто, совсем не молодецкато, будто даже и не очень уверенно, однако же режет низко-низко, ровно-ровно – бреет и наотмашь кладет срезанное аккуратной лентой по левую руку. Архип поглядывает одним глазом, и видно без слов, что одобряет. Остальные глядят по-разному. Одни как будто сочувственно: хозяин-то, видать, не промах. А другие холодно: хорошо ему косить свое, да и то только для показу. Я, может быть, и не перевожу все это на точные слова, но остро чувствую сложную механику отношений. После ухода отца на другой участок я пытаюсь сам орудовать косой.

– А вы на пятку, на пятку солому забирайте, носку давайте волю, не нажимайте.

Но от волнения я даже не соображаю, где она, эта самая пятка, и носок на третьем взмахе уходит в землю.

– Эге, так и косе скоро погибель, – говорит Архип, – вы у отца поучитесь.

Я чувствую на себе насмешливые глаза смуглой и пыльной вязальницы и тороплюсь выбраться из рядов со своим гербом на картузе, из-под которого струится пот.

– Иди лучше к мамаше пряники есть, – слышу я за спиной издевательский голос Мутузка. Я знаю этого черного, как сапог, косаря: он работает в Яновке третий год, поселник, ловкач, на язык дерзок, про хозяев порою говорил в прошлом году, нарочито при мне, нехорошие, но меткие слова. Мутузок нравится мне ловкостью и смелостью и в то же время вызывает бессильную ненависть своей разухабистой издевкой. Мне хочется сказать что-то такое, чтоб покорить Мутузку на свою сторону, или, наоборот, повелительно оборвать его, но я не знаю такого слова.

Приехав с поля, вижу у порога нашего дома босую женщину. Она сидит возле камня, опершись о стену, не решается сесть на камень, – это мать полуумного подпaska Игнатки. Она пришла за семь верст за рублем, но дома нет никого и некому дать рубль. Она будет ждать до вечера. Что-то щемит у меня сердце при взгляде на эту фигуру, которая воплощает нищету и безропотность.

Через год дело не стало лучше, наоборот. Возвращаясь с крокета, я встретил во дворе отца, который только что прибыл с поля, усталый и раздраженный, весь в пыли, а за ним переставлял босые ноги с черными пятками пегий мужичок. «Отпустите, ради бога, корову», – просил он и клялся, что не пустит ее больше в хлеба. Отец отвечал: «Корова твоя съест на гривенник, а убытку сделает на десять рублей». Мужичок повторял свое, и в мольбе его звучала ненависть. Сцена эта потрясла меня всего, насквозь, до последних фибр в теле. Крокетное настроение, вынесенное с площадки меж грушевыми деревьями, где я победо-

носно разгромил сестер, сменилось сразу острым отчаянием. Я прошмыгнул мимо отца, пробрался в спальню, упал ничком на кровать и самозабвенно плакал, несмотря на билет ученика второго класса. Отец прошел через сени в столовую, за ним прошлепал до порога мужичок. Слышались голоса. Потом мужичок ушел. Пришла с мельницы мать, я различал ее голос, слышал, как стали готовить тарелки к обеду, как мать окликала меня... Я не отсылался и плакал. Слезы приобрели в конце концов вкус блаженства. Открылась дверь, и надо мною наклонилась мать:

– Чего ты, Левочка? – Я не отвечал. Мать о чем-то пошептала с отцом.

– Ты из-за этого мужика? Так ему корову вернули и штрафа с него не взяли.

– Я совсем не из-за этого, – ответил я из-под подушки, мучительно стыдясь причины своих слез.

– И штрафа с него не взяли, – продолжала настаивать мать.

Это отец догадался о причине моего горя и сказал матери. Отец мимоходом, одним быстрым взглядом умел подмечать многое.

Приехал однажды в отсутствие хозяина урядник, грубый, жадный, наглый, и потребовал паспорта рабочих. Он нашел два просроченных. Владельцев их он немедленно вызвал с поля и объявил арестованными для отправки на родину по этапу. Один был старик с глубокими складками коричневой шеи, другой – молодой, племянник старика. Они упали в сени сухими коленями на земляной пол, сперва старик, за ним молодой, гнули к земле головы и повторяли: «Сделайте такую божескую милость, не губите нас». Плотный и потный урядник, играя шашкой и отпивая принесенного ему из погреба холодного молока, отвечал: «У меня милость только по праздникам, а сегодня будни». Я сидел, как на жаровне, и что-то протестующе сказал срывающимся голосом. «Это, молодой человек, вас не касается», – отчеканил строго урядник, а старшая сестра подала мне тревожный сигнал пальцем. Рабочих урядник увез.

Во время каникул я бывал за счетовода, т. е. попеременно со старшим братом и старшей сестрой записывал в книгу нанятых рабочих, условия найма и отдельные выдачи продуктами и деньгами. При расчетах с рабочими я нередко помогал отцу, и тут у нас вспыхивали короткие, приглушенные присутствием рабочих столкновения. Обманов при расчете никогда не было, но условия договора истолковывались всегда жестко. Рабочие, особенно постарше, замечали, что мальчик тянет их руку, и это раздражало отца.

После резких столкновений я уходил из дому с книгой, не возвращался иногда и к обеду. Однажды во время такой ссоры застигла меня в поле гроза: гром грохотал без перерывов, степной дождь захлебывался от обилия воды, молнии, казалось, искали меня то с одной, то с другой стороны. Я прогуливался взад и вперед, весь мокрый, в чавкающих башмаках и в картузе, похожем на водосточный раструб. Когда я пришел домой, все молча и искоса глядели на меня. Сестра дала мне переодеться и поесть.

После каникул я возвращался обычно с отцом. При пересадках носильщика не брали, вещи несли сами. Отец брал что потяжелее, и я видел по его спине и по вытянутым рукам, что ему тяжело. Мне было жалко отца, и я старался нести, что мог. Когда же случался большой ящик с деревенскими гостинцами для одесской родни, то брали носильщика. Платил отец скупно, носильщик бывал недоволен, сердито крутил головой. Я всегда переживал это болезненно. Когда ездил один и приходилось прибегать к носильщикам, то я быстро расточал свои карманные деньги, всегда опасаясь недодать и беспокойно заглядывая носильщику в глаза. Это была реакция на прижимистость в родительском доме, и она осталась на всю жизнь.

И в деревне, и в городе я жил в мелкобуржуазной среде, где главные усилия направлены были на приобретение. По этой линии я оттолкнулся и от деревни моего раннего детства, и от

города моих школьных годов. Инстинкты приобретательства, мелкобуржуазный жизненный уклад и кругозор – от них я отчалил резким толчком, и отчалил на всю жизнь.

В религиозной и национальной области город и деревня не противоречили друг другу, наоборот, с разных сторон дополняли друг друга. Религиозности в родительской семье не было. Сперва видимость ее еще держалась по инерции: в большие праздники родители ездили в колонию в синагогу, по субботам мать не шила, по крайней мере, открыто. Но и эта обрядовая религиозность ослабевала с годами, по мере того, как росли дети и рядом с ними благосостояние семьи. Отец не верил в бога с молодых лет и в более поздние годы говорил об этом открыто при матери и детях. Мать предпочитала обходить этот вопрос, а в подходящих случаях поднимала глаза к небесам.

Когда мне было лет семь-восемь, вера в бога считалась еще, однако, как бы официально общепризнанной. Как-то приезжий гость, перед которым родители по обыкновению хвалились сыном, заставляя меня показывать рисунки и читать стихи, спросил меня:

– А что такое бог? – «Бог, – ответил я без колебания, – это такой человек». Но гость покачал головою: нет, бог не человек.

– А что же такое бог? – спросил я в свою очередь, ибо, кроме человека, я знал только животных и растения. Гость, отец и мать переглянулись с улыбкой смущения, как всегда бывает со взрослыми, когда дети начинают колебать самые незыблемые общие места.

– Бог – это дух, – сказал гость. Теперь я смотрел с растерянной улыбкой на взрослых, чтобы прочитать на их лицах, не шутят ли они со мною. Но нет, шутки не было. Приходилось подчиниться. Я скоро привык к тому, что бог – это дух. Как и полагается маленькому дикарю, я связывал бога со своим собственным «духом», называя его душой, и уже знал, что дух, т. е. дыхание, прекращается со смертью. Но я еще не знал тогда, что это учение называется анимизмом.

Во время первых каникул, ложась спать на кушетке в столовой, я ввязался в беседу о боге со студентом З., который гостил в Яновке и спал на диване. В существование бога я в это время не то верил, не то не верил, особенно этим не занимался, но не прочь был найти твердое решение.

«А куда девается душа после смерти?» – спросил я, склоняясь к подушке. «А куда она девается, когда человек спит?» – последовал ответ. «Ну, тогда все-таки...» – возражал я, борясь со сном. «А куда девается душа лошади, когда она околеет?» – наступал на меня З. Этот ответ удовлетворил меня полностью, и я безмятежно заснул.

В семье Шпенцера религиозности совершенно не было, если не считать старухи тетки, которая, однако, в счет не шла. Отец хотел, однако, чтоб я знал Библию в подлиннике, это был один из пунктов его родительского честолюбия, и я брал в Одессе частные уроки по Библии у очень ученого старика. Занятия наши длились всего несколько месяцев и нимало не укрепили меня в вере отцов. Уловив в словах учителя какой-то двусмысленный оттенок по отношению к тексту, который мы изучали, я осторожно и дипломатически спросил: «Если считать, как думают некоторые, что нет бога, то как же произошел мир?»

– Гм, – ответил мой учитель, – но ведь вы можете этот вопрос обратить на него самого. Именно так замысловато выразился старик. Я понял, что наставник в законе божием не верит в бога, и успокоился окончательно.

Состав учеников в реальном училище был разноплеменный и разноисповедный. Преподавание «закона божьего» производилось по принадлежности: православным священником, протестантским пастором, католическим пастором и еврейским законоучителем. Поп, племянник архиерея и, как говорили, любимец дам, был молодой блондин писаной красоты, под Христа, только вполне салонного, в золотых очках, при пышных золотистых волосах, вообще невыносимого благолепия. Перед уроком религии ученики разделялись, иноверцам приходилось выходить из класса, иногда под носом у священника. Он всегда делал особое

лицо, глядя на выходящих с выражением презрения, чуть смягченного истинно христианской снисходительностью. «Вы куда?» – спрашивал он кого-нибудь из выходящих. «Мы – католики», – отвечал тот. «А, католики, – повторял он, покачивая головой, – так, так, так... А вы?» – «Мы – евреи...» – «Еврейчики, еврейчики, так, так, так...» К католикам приходил черной тенью ксендз, всегда у самой стенки появляясь и исчезая незаметно, так что за все годы я так и не уловил его бритого лица. Добродушный человек, по фамилии Цигельман, преподавал евреям-ученикам на русском языке Библию и историю еврейского народа. Этих занятий никто не брал всерьез.

Национальный момент в психологии моей не занимал самостоятельного места, так как мало ощущался в повседневной жизни. После ограничительных законов 1881 г. отец, правда, не мог больше покупать землю, к чему так стремился, и мог лишь под прикрытием арендовать ее. Но меня все это мало задевало. Сын зажиточного землевладельца, я принадлежал скорее к привилегированным, чем к угнетенным. Язык семьи и двора был русско-украинский. При поступлении в училище была, правда, для евреев процентная норма, из-за которой я потерял год. Но дальше я шел все время первым и нормы непосредственно не ощущал. Прямой национальной травли в училище не было. Этому препятствовала до известной степени уже национальная пестрота не только ученического, но и учительского состава. Подспудный шовинизм, однако, чувствовался и время от времени прорывался наружу. Историк Любимов допрашивал с особым пристрастием ученика поляка о преследовании православных поляками в Белоруссии и Литве. Мицкевич, смуглый и худощавый мальчик, стоял с прозеленью на щеках, стиснув зубы и не говоря ни слова. «Ну, что же вы? – поощрял его Любимов с оттенком явного сладострастия. – Что же вы молчите?» Один из учеников не вытерпел: «Мицкевич сам поляк и католик». «А... а... – протянул Любимов с явно фальшивым удивлением, – здесь различий мы не делаем...»

Я одинаково остро ощущал и замаскированные гнусности историка по отношению к полякам, и злобную придирчивость француза Бюрнанда к немцам, и покачивание попки головой по поводу «еврейчиков». Национальное неравноправие послужило, вероятно, одним из подспудных толчков к недовольству существующим строем, но этот мотив совершенно растворялся в других явлениях общественной несправедливости и не играл не только основной, но и вообще самостоятельной роли.

Чувство превосходства общего над частным, закона над фактом, теории над личным опытом возникло у меня рано и укреплялось с годами. В оформлении этого чувства, которое позже легло в основу мирозерцания, город сыграл решающую роль. Когда мальчики, которые изучали физику и естествознание, делали суеверные замечания насчет «тяжелого» понедельника или попа, который перешел дорогу, меня охватывало острое возмущение, чувство оскорбленной мысли. Я готов был лезть на стену, чтоб отвратить их от постыдных суеверий.

Когда в Яновке долго бились над измерением площади поля, имевшего форму трапеции, я поступил по Эвклиду, потратив на это две минуты. Но мой результат не сходил с тем, какой получался «по практике», и мне не верили. Я приносил курс геометрии, клялся наукой, волновался, говорил дерзости, но видел, что люди не убеждались, и приходил в отчаяние.

Я неистово спорил с нашим деревенским машинистом Иваном Васильевичем, который не хотел отказаться от надежды построить машину вечного движения. Закон сохранения энергии казался ему мало относящейся к делу выдумкой. «То книга, а то практика...» – говорил он. Мне казалось непонятным и невыносимым, что люди отталкиваются от незыблемых истин во имя привычных заблуждений или нелепых фантазий.

Позже чувство превосходства общего над частным вошло неотъемлемой частью в мою литературную работу и политику. Тупой эмпиризм, голое пресмыкательство перед фактом, иногда только воображаемым, часто ложно понятым, были мне ненавистны. Я искал над фактами законов. Это вело, разумеется, не раз к слишком поспешным и ошибочным обоб-

щениям, особенно в молодые годы, когда для обобщений не хватало ни книжного знания, ни жизненного опыта. Но во всех без исключения областях я чувствовал себя способным двигаться и действовать только в том случае, если держал в руках нить общего. Социально-революционный радикализм, ставший моим духовным стержнем на всю жизнь, вырос именно из этой интеллектуальной вражды к крохоборчеству, эмпиризму, ко всему вообще идейно не оформленному, теоретически не обобщенному.

Пытаюсь оглянуться на себя назад. Мальчик был, несомненно, самолюбив, вспыльчив, пожалуй, неуживчив. Вряд ли у него при поступлении в училище было чувство превосходства над сверстниками. Правда, в деревне его выставляли перед гостями, но там не с кем было и сравнивать себя, а городские мальчишки, бывавшие в Яновке, всегда имели недостижимое превосходство гимназистов, связанное с превосходством возраста, так что глядеть на них нельзя было иначе, как снизу вверх. Но школа есть арена жестокого соревнования. С того момента, как он оказался первым учеником, на большом расстоянии от второго, маленький выходец из Яновки почувствовал, что может более других. Мальчишки, которые сближались с ним, признавали его верховенство. Это не могло не сказаться на характере. Учителя тоже одобряли его, а некоторые, как Крыжановский, даже и очень выдвигали. В общем же учителя относились к нему хоть и хорошо, но скорее суховато. Ученики делились: были горячие друзья, но были и противники.

Мальчик не был лишен самокритики. Он был даже скорее придирчив к себе. Собственные знания и черты собственного характера не удовлетворяли его, и чем дальше, тем острее. Он свирепо ловил себя на том, что сказал неправду, и укорял себя на каждом шагу в том, что не читал книг, о которых уверенно упоминали другие. Это, конечно, было тесно связано с самолюбием. Мысль о том, что нужно стать лучше, выше, начитаннее, все чаще щемила у него в груди. Он думал о назначении человека вообще и о своем в особенности.

Как-то вечером Моисей Филиппович, проходя мимо, спросил меня торжественно: «Что, брат, думаешь ли ты о жизни?» Мой воспитатель часто прибегал к такой шутиливой риторике, к иронически-театральному тону. Но меня всего как обожгло. Да, я именно думал о жизни, только не умел назвать этим именем свою мальчишескую тревогу перед будущим. Мне казалось, что мой воспитатель подслушал меня. «Видно, я в точку попал», – сказал он совсем другим тоном, мягко похлопал меня по спине и прошел к себе.

Были ли в семье Шпенцера какие-либо политические взгляды? Умеренно-либеральные на гуманитарной подкладке, у Моисея Филипповича – туманно-социалистические симпатии, народнически и толстовски окрашенные. На политические темы почти никогда не говорили, особенно при мне: возможно, что тут были прямые опасения, как бы я не сказал чего лишнего товарищам и как бы не накликать беды. Когда же в речах старших попадались случайные ссылки на события революционного движения, например: «Это было в год убийства Александра II», то это звучало таким прошлым, как если бы сказать: это было в год открытия Америки Колумбом. Среда, окружавшая меня, была аполитичной. Ни политических взглядов, ни даже потребности иметь их у меня в школьные годы не было. Но безотчетные стремления мои были оппозиционными. Была глубокая неприязнь к существующему строю, к несправедливости, к произволу. Откуда? Из условий эпохи Александра III, из полицейского самоуправства, помещичьей эксплуатации, чиновничьего взяточничества, национальных ограничений, из несправедливостей в училище и на улице, из близких связей с крестьянскими мальчишками, прислугой, рабочими, из разговоров в мастерской, из гуманного духа в семье Шпенцера, из чтения стихов Некрасова и всяких других книг, из всей вообще общественной атмосферы. Эти оппозиционные настроения я сам для себя резко обнаружил в соприкосновении с двумя товарищами по классу: Родзевичем и Кологривовым.

Владимир Родзевич был сын полковника и одно время шел вторым учеником. Он настоял у родителей, чтобы ему разрешили пригласить меня на воскресенье. Меня приняли

суховато, но хорошо. Полковник и полковница говорили со мной мало и как бы испытующе. За те три-четыре часа, что я провел в семье Родзевича, я раза два натолкнулся на что-то чуждое и беспокоящее, даже враждебное: это когда вскользь касались религии или власти. Был в семье тон консервативного благочестия, который я почувствовал, как толчок в грудь. Владимира ко мне родители не пустили, и связь наша оборвалась. После первой революции в Одессе достигло большой популярности имя черносотенца Родзевича, вероятно, одного из членов этой семьи.

Еще резче вышло это с Кологривовым. Он поступил сразу во второй класс, на второе полугодие и выделялся в классе как чужак, высокий и нескладный. Прилежания он был необыкновенного. Где и что можно было, заучивал назубок. В течение первого же месяца он совсем зазубрился. Когда его к карте вызвал учитель географии, Кологривов, не дожидаясь вопроса, начал сразу: «Иисус Христос заповедал миру». Дело в том, что после географии предстоял урок закона божьего. В разговоре с этим Кологривовым, который не без почтительности относился ко мне как к первому ученику, я высказал какое-то критическое суждение не то о директоре, не то еще о ком-то. «Разве так можно говорить о директоре?» – спросил с искренним возмущением Кологривов. «А почему же нет?» – с еще более искренним удивлением возразил я. «Да ведь он же начальник. Если начальник прикажет тебе на голове ходить, то ты обязан ходить, а не критиковать». Он так именно и сказал. Эта законченная формула поразила меня. Я тогда не догадался, что мальчик повторил лишь то, что не раз, очевидно, слышал в своей крепостнической семье. И хоть своих взглядов у меня не было, но я почувствовал, что есть такие взгляды, которых я не могу принять так же, как не могу есть червивую пищу.

Параллельно с глухой враждой к политическому режиму России складывалась незаметным образом идеализация заграницы – Западной Европы и Америки. По отдельным замечаниям и обрывкам, дополненным воображением, создавалось представление о высокой, равномерной, всех без изъятия охватывающей культуре. Позже с этим связалось представление об идеальной демократии.

Молодой рационализм говорил, что если что-нибудь понято, то, значит, и осуществлено. Поэтому казалось невероятным, что в Европе могут быть суеверия, что церковь может играть там большую роль, что в Америке могут преследовать чернокожих. Эта идеализация, незаметно всосанная из окружающей мещански-либеральной среды, держалась и позже, когда я стал уже проникаться революционными взглядами. Я бы, вероятно, очень удивился, если бы услышал в те годы, – если б мог услышать, – что германская республика, увенчанная социал-демократическим правительством, допускает монархистов, но отказывает революционерам в праве убежища. С того времени я, к счастью, многому перестал удивляться. Жизнь выколотила из меня рационализм и научила меня диалектике. Даже Герман Мюллер не способен меня удивить.

Глава VI. ПЕРЕЛОМ

Политическое развитие России с середины прошлого века измерялось десятилетиями. Шестидесятые годы – после крымской кампании – были эпохой просветительства, нашим коротким XVIII столетием. В следующее десятилетие интеллигенция попыталась уже сделать практические выводы из идей просветительства: она начала с хождения в народ с революционной пропагандой и закончила терроризмом. Семидесятые годы вошли в историю как годы «Народной воли» по преимуществу. Лучшие элементы поколения сгорели в огне динамитной борьбы. Враг удержал все свои позиции. Наступило десятилетие упадка, разочарования, пессимизма, религиозных и моральных исканий – восьмидесятые годы. Под покровом реакции шла, однако, глухая работа сил капитализма. Девяностые годы приносят с собою рабочие стачки и марксистские идеи. Новый подъем достигает своей кульминации в первом десятилетии нового века: это 1905 г.

Восьмидесятые годы стояли под знаком обер-прокурора святейшего синода Победоносцева, классика самодержавной власти и всеобщей неподвижности. Либералы считали его чистым типом бюрократа, не знающего жизни. Но это было не так. Победоносцев оценивал противоречия, кроющиеся в недрах народной жизни, куда трезвее и серьезнее, чем либералы. Он понимал, что если ослабить гайки, то напором снизу сорвет социальную крышку целиком и тогда развеется прахом все то, что не только Победоносцев, но и либералы считали устоями культуры и морали. Победоносцев по-своему видел глубже либералов. Не его вина, если исторический процесс оказался могущественнее той византийской системы, которую с такой энергией защищал вдохновитель Александра III и Николая II.

В глухие восьмидесятые годы, когда либералам казалось, что все замерло, Победоносцев чувствовал под ногами мертвую зыбь и глухие подземные толчки. Он не был спокоен в самые спокойные годы царствования Александра III. «Тяжело было и есть, горько сказать, и еще будет – так писал он своим доверенным людям. – У меня тягота не спадает с души, потому что я вижу и чувствую ежечасно, каков дух времени и каковы люди стали... Сравнивая настоящее с давно прошедшим, чувствуем, что живем в каком-то ином мире, где вес идет вспять к первобытному хаосу, – и мы, посреди всего этого брожения, чувствуем себя бессильными». Победоносцеву довелось дожить до 1905 г., когда столь страшившие его подземные силы вырвались наружу и первые глубокие трещины прошли через фундамент и капитальные стены всего старого здания.

Официальным годом политического перелома в стране считается 1891 г., ознаменовавшийся неурожаем и голодом. Новое десятилетие не только в России вращалось вокруг рабочего вопроса. В 1901 г. германская социалистическая партия приняла в Эрфурте свою программу. Папа Лев XIII выпустил энциклику, посвященную положению рабочих. Вильгельм носился с социальными идеями, в которых сумасбродное невежество сочеталось с бюрократической романтикой. Сближение царя с Францией обеспечило приток капиталов в Россию. Назначение Витте министром финансов открыло эру промышленного протекционизма. Бурное развитие капитализма порождало тот самый «дух времени», который томил Победоносцева грозными предчувствиями.

Политический сдвиг в сторону активности обнаружился прежде всего в кругах интеллигенции. Все чаще и решительнее стали выступать молодые марксисты. Одновременно начало пробуждаться и уснувшее народничество. В 1893 г. вышла первая легальная марксистская книжка, принадлежавшая перу Струве. Мне шел тогда 14-й год, я был еще далек от этих вопросов.

В 1894 г. умер Александр III. Как всегда в таких случаях, либеральные надежды пытались найти опору в наследнике. Он ответил пинком ноги. На приеме земцев молодой царь

назвал конституционные надежды «бессмысленными мечтаниями». Эта речь была напечатана во всех газетах. Из уст в уста передавали, будто в бумажке, с которой считывал царь свою речь, написано было: «беспочвенные мечтания», но от волнения царь сказал грубее, чем хотел. Мне было в это время 15 лет. Я был безотчетно на стороне бессмысленных мечтаний, а не на стороне царя. Я смутно верил в постепенное совершенствование, которое должно отсталую Россию приблизить к передовой Европе. Дальше этого мои политические идеи не шли.

Торговая, разноплеменная, пестрая, крикливая Одесса чрезвычайно отставала политически от других центров. В Петербурге, в Москве, в Киеве существовали уже к этому времени многочисленные социалистические кружки в учебных заведениях. В Одессе их еще не было. В 1895 г. умер Фридрих Энгельс. В разных городах России Энгельсу были посвящены тайные доклады на студенческих и ученических кружках. Мне шел в это время уже 16-й год. Но я не знал самого имени Энгельса и вряд ли мог сказать что-либо определенное о Марксе; пожалуй, вообще еще ничего не знал о нем.

Политические настроения мои в школе были смутнооппозиционные, и только. О революционных вопросах в школе при мне еще не было и речи. Шепотом передавали, что в частном гимнастическом зале у чеха Новака собирались какие-то кружки, что были аресты, что именно за это Новак, преподававший у нас гимнастику, уволен из училища и заменен офицером. В кругу людей, с которыми я был связан через семью Шпенцера, режимом были недовольны, но считали его незыблемым. Самые смелые мечтали о конституции через несколько десятков лет. О Яновке и говорить нечего. Когда после окончания училища я явился в деревню со смутными демократическими идеями, отец сразу насторожился и враждебно сказал: «Этого не будет еще и через триста лет». Он был уверен в тщете реформаторских усилий и боялся за сына. В 1921 г., когда, спасшись от белых и красных опасностей, отец прибыл ко мне в Кремль, я шутя сказал ему: «А помните, вы говорили, что царских порядков еще на триста лет хватит?» Старик лукаво улыбнулся и ответил по-украински: «Пусть на сей раз твоя правда старше...»

В среде интеллигенции в начале девяностых годов умирали толстовские настроения, марксизм все более победоносно наступал на народничество. Отголосками этой идейной борьбы была наполнена пресса всех направлений. Везде упоминалось о самонадеянных молодых людях, которые называют себя материалистами. Со всем этим я столкнулся впервые лишь в 1896 г.

Вопросы личной морали, столь тесно связанные с пассивной идеологией восьмидесятых годов, скользнули по мне в такой период, когда «самосовершенствование» являлось для меня не столько идейным направлением, сколько органической потребностью духовного роста. Самосовершенствование тотчас же, однако, уперлось в вопрос о «миросозерцании», который, в свою очередь, привел к основной альтернативе: народничество или марксизм. Борьба направлений захватила меня с запозданием всего лишь на несколько лет по отношению к общему идейному перелому в стране. Когда я подходил к азбуке экономической науки и ставил перед собою вопрос о том, должна ли Россия проходить через стадию капитализма, марксисты старшего поколения успели уже найти путь к рабочим и превратиться в социал-демократов.

К первому большому перекрестку на своем пути я подошел политически мало подготовленным, даже для тогдашнего своего семнадцатилетнего возраста. Слишком много вопросов вставало передо мной сразу, без соблюдения необходимой последовательности и очередности. Я метался. Одно можно сказать уверенно: в сознании моем был уже заложен жизнью серьезный запас социального протеста. Из чего он состоял? Из сочувствия к обиженным и возмущения несправедливостью. Пожалуй, последнее чувство было самым сильным. Во всех моих бытовых впечатлениях, начиная с раннего детства, человеческое неравен-

ство выступало в исключительно грубых и обнаженных формах, несправедливость получала нередко характер наглой безнаказанности, человеческое достоинство попиралось на каждом шагу. Достаточно вспомнить о порке крестьян. Все это воспринималось остро еще до всяких теорий и создавало запас впечатлений большой взрывчатой силы. Может быть, именно поэтому я как бы колебался некоторое время перед теми большими выводами, которые необходимо было сделать из наблюдений первого периода моей жизни.

Но была в моем развитии и другая сторона. При смене поколений мертвый нередко хватает живого. Так было и с тем поколением русских революционеров, ранняя юность которых складывалась под гнетом атмосферы восьмидесятых годов. Несмотря на большие перспективы, открывавшиеся новым учением, на практике марксисты сплошь да рядом оказывались в плену консервативных настроений восьмидесятых годов, проявляли неспособность к смелой инициативе, пасовали перед препятствиями, отодвигали революцию в неопределенное будущее, социализм склонны были считать делом эволюционной работы столетий.

В такой семье, как семья Шпенцера, несколькими годами раньше или несколькими годами позже несравненно громче звучал бы голос политической критики. На мою долю выпали самые глухие годы. Политических бесед в семье почти не было, большие вопросы обходились. В школе то же самое. Я несомненно многое впитал из этой атмосферы восьмидесятых годов. И позже, когда я уже стал оформляться как революционер, я ловил себя на недоверии к действию масс, на книжном, абстрактном и потому скептическом отношении к революции. Со всем этим я должен был бороться в самом себе – размышлением, чтением, а главное, опытом, пока не победил в себе элементы психической косности.

Но нет худа без добра. Может быть, именно то обстоятельство, что мне пришлось сознательно преодолевать в себе отголоски восьмидесятых годов, дало мне возможность серьезнее, конкретнее и глубже подойти к основным проблемам массового действия. Прочно только то, что завоевано в бою. Все это, однако, относится к более отдаленным главам моего повествования.

В седьмом классе я учился уже не в Одессе, а в Николаеве. Город был провинциальное, училище стояло на более низком уровне. Но год учения в Николаеве, 1896-й, стал переломным годом моей юности, ибо поставил передо мною вопрос о моем месте в человеческом обществе. Я жил в семье, где были взрослые дети, уже слегка захваченные новыми течениями. Замечательное дело: на первых порах я давал в разговоре решительный отпор «социалистическим утопиям». Я разыгрывал из себя скептика, который через все это прошел. На политические вопросы я откликался не иначе, как тоном иронического превосходства. Хозяйка, у которой я жил, глядела на меня с удивлением и даже ставила меня в пример, правда, не совсем уверенно, своим собственным детям, которые были несколько старше меня и тянули влево. Но это была с моей стороны лишь неравная борьба за свою самостоятельность. Я пытался избежать личного влияния на меня тех молодых социалистов, с которыми меня столкнула судьба. Неравная борьба длилась всего несколько месяцев. Идеи, которые носились в воздухе, были сильнее меня. Тем более, что в глубине души я ничего так не хотел, как подчиниться им. Уже через несколько месяцев жизни в Николаеве поведение мое коренным образом изменилось. Я отказался от напускного консерватизма и забирал влево с такой стремительностью, которая отпугивала кой-кого из моих новых друзей. «Как же так? – говорила моя хозяйка, – напрасно, значит, я вас ставила в пример своим детям».

Школьные занятия я запустил. Вывезенных из Одессы знаний хватало, впрочем, на то, чтоб удерживать кое-как официальное положение первого ученика. Я все чаще манкировал училищем. Однажды ко мне на квартиру явился с визитом инспектор, чтоб проверить причину моих неявок. Я чувствовал себя униженным до последней степени. Но инспектор был вежлив, убедился, что в семье, где я жил, как и в моей комнате, царил порядок, и мирно удалился. Под матрацем у меня лежало несколько нелегальных брошюр.

Кроме молодежи, тяготевшей к марксизму, я встретился в Николаеве впервые с несколькими бывшими ссыльными, состоявшими под надзором полиции. Это были второстепенные фигуры периода упадка народнического движения. Социал-демократы еще не возвращались из ссылки, они только отправлялись в нее. Два встречных течения создавали идейные водовороты. В них некоторое время покружился и я. От народничества шел запах затхлости. Марксизм отпугивал так называемой «узостью». Сгорая от нетерпения, я пытался схватывать идеи чутьем.

Но они не давались так просто. Вокруг себя я не находил никого, кто мог бы служить надежной опорой. Да к тому же каждая новая беседа заставляла меня с горечью, с обидой, с отчаянием убеждаться в своем невежестве.

Я познакомился и сблизился с садовником Швиговским, чехом по происхождению. В его лице я видел впервые рабочего, который получал газеты, читал по-немецки, знал классиков, свободно участвовал в спорах марксистов с народниками. Его избушка в саду, состоявшая из одной комнаты, была местом, где встречались приезжие студенты, бывшие ссыльные и местная молодежь. Через Швиговского можно было достать запрещенную книгу. В разговорах ссыльных мелькали имена народовольцев: Желябова, Перовской, Фигнер – не как героев легенды, а как живых людей, с которыми встречались если не эти ссыльные, то их старшие друзья. У меня было такое чувство, что я включаюсь маленьким звеном в большую цепь.

Я набрасывался на книги в страхе, что всей жизни не хватит на подготовку к действию. Чтение было нервное, нетерпеливое и несистематическое. От нелегальных брошюр предшествующей эпохи я переходил к «Логике» Джона Стюарта Милля, потом садился за «Первобытную культуру» Липперта, не дочитав «Логики» и до половины. Утилитаризм Бентама казался мне последним словом человеческой мысли. В течение нескольких месяцев я чувствовал себя несокрушимым бентамистом. По той же линии шли увлечения реалистической эстетикой Чернышевского. Не покончив с Липпертом, я перебрался на «Историю французской революции» Минье. Каждая книга жила особо, не находя себе места в системе. Борьба за систему имела напряженный, моментами неистовый характер. В то же время я отталкивался от марксизма отчасти именно потому, что он представлял собой законченную систему.

Одновременно я стал читать газеты, не так, как в Одессе, а под политическим углом зрения. Наибольшим авторитетом пользовалась тогда московская либеральная газета «Русские ведомости». Мы ее не читали, а изучали, начиная с импотентных профессорских передовиц и кончая научными фельетонами. Гордостью газеты были иностранные корреспонденции, особенно из Берлина. Через «Русские ведомости» я получил первое представление о политической жизни Западной Европы, особенно о парламентских партиях. Сейчас трудно даже представить себе то волнение, с каким мы следили за речами Бебеля и даже Евгения Рихтера. И до сих пор я помню фразу, которую Дашинский бросил вошедшим в здание парламента полицейским: «Я представитель 30000 рабочих и крестьян Галиции, кто смеет ко мне прикоснуться!». Мы рисовали себе при этом титаническую фигуру галицийского революционера. Театральные подмостки парламентаризма, увы, жестоко обманывали нас. Успехи немецкого социализма, президентские выборы в Соединенных Штатах, потасовки в австрийском рейхсрате, происки французских роялистов, все это захватывало нас гораздо больше, чем личная судьба каждого из нас.

Тем временем отношения с родными ухудшились. Приезжая в Николаев для продажи зерна, отец какими-то путями узнал о моих новых знакомствах. Он чувствовал, что надвигается опасность, но надеялся еще отвлечь ее силою отцовского авторитета. У нас было несколько бурных объяснений. Я непримиримо боролся за свою самостоятельность, за право выбора пути. Кончилось тем, что я отказался от материальной помощи семьи, покинул свою

ученическую квартиру и поселился вместе со Швиговским, который к этому времени арендовал другой сад, с более обширной избою. Здесь мы вшестером жили «коммуной». Летом число наше увеличивалось одним-двумя туберкулезными студентами, искавшими чистого воздуха. Я стал давать уроки. Мы жили спартакцами, без постельного белья, и питались похлебками, которые сами готовили. Мы носили синие блузы, круглые соломенные шляпы и черные палки. В городе считали, что мы примкнули к таинственной секте. Мы беспорядочно читали, неистово спорили, страстно заглядывали в будущее и были по-своему счастливы.

Через некоторое время мы создали общество для распространения в народе полезных книг. Мы собирали денежные взносы, покупали дешевые издания, но не умели их распространять. В саду Швиговского работали один наемный рабочий и один подросток – ученик. Нашу просветительную энергию мы направили прежде всего на них. Но рабочий оказался переодетым жандармом, который был специально подкинут к нам в сад для наблюдения за нами. Его звали Кирилл Тхоржевский. Он втянул в связь с жандармами и подростка. Тот стащил у нас большую пачку народных книг и снес ее в жандармское управление. Начало было явно неудачно. Но мы твердо надеялись на успехи в будущем.

Я написал для народнического издания в Одессе полемическую статью против первого марксистского журнала. В статье было много эпиграфов, цитат и яду. Содержания в ней было значительно меньше. Я послал статью по почте, а через неделю сам поехал за ответом. Редактор через большие очки с симпатией глядел на автора, у которого вздымалась огромная копна волос на голове при отсутствии хотя бы намек на растительность на лице. Статья не увидела света. Никто от этого не потерял, меньше всего я сам.

Когда выборная дирекция общественной библиотеки подняла годовую абонементную плату с пяти рублей до шести, мы увидели в этом попытку отгородиться от демократии и ударили в набат. Несколько недель мы только и делали, что подготавливали общее собрание членов библиотеки. Мы вытряхивали все свои демократические карманы, собирали рубли и полтинники и на эти деньги записывали новых, более радикальных членов, из которых далеко не все обладали не только шестью рублями, но и указанным в уставе двадцатилетним возрастом. Книгу заявлений в библиотеке мы превратили в собрание пламенных памфлетов. На годовом собрании сшиблись две партии: чиновники, учителя, либеральные помещики и морские офицеры, с одной стороны, мы, демократия, – с другой. Победа оказалась за нами по всей линии: мы восстановили пятирублевую плату и выбрали новое правление.

Бросаясь из стороны в сторону, мы решили создать университет на началах взаимобучения. Слушателей было человек двадцать. На меня легли лекции по социологии. Это звучало гордо. Я готовился к своему курсу изо всех сил. После двух лекций, прошедших вполне благополучно, я почувствовал сразу, что мои ресурсы истощены. Второй лектор, на которого лег курс французской революции, сбился на первых фразах и пообещал представить лекцию в письменном виде. Обещания он, разумеется, не выполнил. На этом предприятие закончилось.

Тогда с этим самым вторым лектором, старшим из братьев Соколовских, мы решили написать драму. Для этой цели мы даже вышли временно из коммуны и укрылись в отдельной комнате, никому не сообщая адреса.

Пьеса наша была проникнута общественными тенденциями на фоне борьбы поколений. Хотя оба драматурга еще полунедоверчиво относились к марксизму, тем не менее народник в пьесе представлял собою скорее инвалидную фигуру, а бодрость, свежесть, надежда были на стороне молодых марксистов. Такова сила времени! Романический элемент нашел выражение в том, что разбитый жизнью революционер старшего поколения влюбляется в марксистку, но она отчитывает его немилосердной речью о крушении народничества.

Работа над пьесой шла немалая. Иногда мы писали совместно, подталкивая и поправляя друг друга, иногда разбивали сцены на части, и каждый из нас в течение дня заготов-

лял явление или монолог. А в монологах, нужно сказать, у нас недостатка не было. Вечером Соколовский приходил со службы, которая позволяла ему свободно обрабатывать жалобные речи разбитого жизнью семидесятника. Я возвращался с уроков или от Швиговского. Хозяйская дочь подавала нам самовар. Соколовский вынимал из карманов хлеб и колбасу. Отделенные таинственной броней от всего мира, драматурги проводили остаток вечера в напряженной работе. Первое действие мы написали целиком, даже с надлежащим эффектом под занавес. Остальные действия, числом четыре, были только в набросках. Чем дальше мы подвигались, однако, тем больше охладевали к своей работе. Через некоторое время мы пришли к заключению, что таинственную комнату нашу надо ликвидировать, а завершение драмы отложить до будущего времени. Сверток рукописей был перенесен Соколовским на какую-то другую квартиру. Позже, когда мы сидели уже в одесской тюрьме, Соколовский сделал через своих родных попытку разыскать рукопись. Может быть, у него мелькала мысль о том, что ссылка будет как раз подходящим временем для обработки драматического произведения. Но рукописи не было, она исчезла бесследно. Вернее всего, хозяева, у которых она хранилась, после ареста злополучных авторов сочли за лучшее предать ее сожжению. Я мирюсь с этим тем легче, что на дальнейшем моем, не всегда гладком жизненном пути у меня пропали рукописи несравненно большего значения.

Глава VII. МОЯ ПЕРВАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Осенью 1896 г. я все же посетил деревню. Но дело ограничилось коротким перемирием с семьей. Отец хотел, чтоб я стал инженером. А я еще колебался между чистой математикой, к которой чувствовал большое тяготение, и революцией, которая постепенно овладевала мною. Каждое прикосновение к этому вопросу приводило к острому кризису в семье. Все было мрачно, все страдали, старшая сестра потихоньку плакала, и никто не знал, что предпринять. Гостивший в деревне дядя, инженер и владеец завода в Одессе, уговорил меня поехать на время к нему. Это все же был, хоть временный, выход из тупика. Я прожил у дяди несколько недель. Мы спорили о прибыли и прибавочной стоимости. Мой дядя был сильнее в присвоении прибыли, чем в объяснении ее. Поступление на математический факультет оттягивалось. Я жил в Одессе и искал. Чего? Главным образом, себя. Я заводил случайные знакомства с рабочими, доставал нелегальную литературу, давал уроки, читал тайные лекции старшим ученикам ремесленного училища, вел споры с марксистами, все еще пытаюсь не сдаваться. С последним осенним пароходом я уехал в Николаев и снова поселился со Швиговским в саду.

Возобновилось старое. Мы обсуждали последние книжки радикальных журналов, спорили о дарвинизме, неопределенно готовились и ждали. Что послужило непосредственным толчком к начатию революционной пропаганды? На это трудно ответить. Толчок был внутренний. В той интеллигентской среде, в которой я вращался, никто не вел настоящей революционной работы. Мы отдавали себе отчет в том, что между нашими бесконечными беседами за чаем и революционной организацией – целая пропасть. Мы знали, что связи с рабочими требуют большой конспирации. Это слово мы произносили серьезно, с уважением, почти мистическим. Мы не сомневались, что в конце концов перейдем от чаепитий к конспирации, но никто определенно не говорил, когда и как это произойдет. Чаще всего в оправдание оттяжек мы говорили друг другу: надо подготовиться. И это не было так уж неверно.

Но что-то, очевидно, сдвинулось в воздухе и резко приблизило наш переход на путь революционной пропаганды. Сдвиг произошел не непосредственно в самом Николаеве, а во всей стране, прежде всего в столицах, но отдался и у нас. В 1896 г. в Петербурге разразились знаменитые массовые стачки ткачей. Это придало духу интеллигенции. Почувствовав пробуждение тяжелых резервов, студенты стали смелее. Летом, на Рождество и на Пасху десятки студентов появлялись в Николаеве и приносили с собой отголоски петербургской, московской и киевской борьбы. Некоторых исключали из университета, и недавние гимназисты возвращались с ореолом борцов. В феврале 1897 г. сожгла себя в Петропавловской крепости курсистка Ветрова. Эта трагедия, так и оставшаяся невыясненной до конца, всполошила всех. В университетских городах происходили волнения. Аресты и высылки учащались.

К революционной работе я приступил под аккомпанемент «ветровских» демонстраций. Дело было так: я шел по улице с младшим участником нашей коммуны Григорием Соколовским, юношей моего, примерно, возраста. «Надо бы все-таки и нам начать», – говорил я. «Надо начать, – ответил Соколовский. – Только как?» «Вот именно: как? – Надо найти рабочих, никого не дожидаться, никого не спрашивать, а найти рабочих и начать». «Я думаю, найти можно, – сказал Соколовский. – У меня был знакомый сторож на бульваре, библеец. Вот я к нему и схожу».

Соколовский в тот же день сходил на бульвар к библейцу. Того уже давно не было. Была какая-то женщина, а у этой женщины был знакомый, тоже сектант. Через этого знакомого незнакомой нам женщины Соколовский в тот же день познакомился с несколькими

рабочими, среди которых был электротехник Иван Андреевич Мухин, ставший вскоре главной фигурой организации. Соколовский вернулся с поисков с горящими глазами. «Вот это люди так люди!»

На другой день мы сидели в трактире, группой человек в пять-шесть. Музыкальная машина бешено грохотала над нами и прикрывала нашу беседу от посторонних. Мухин, худощавый, борода клинышком, щурит лукаво умный левый глаз, глядит дружелюбно, но опасливо на мое безусое и безбородое лицо и обстоятельно, с лукавыми остановками, разъясняет мне: «Евангелие для меня в этом деле, как крючок. Я с религии начинаю, а перевожу на жизнь. Я штундистам на днях на фасолях всю правду раскрыл». «Как на фасолях?» «Очень просто: кладу зерно на стол – вот это царь, кругом еще обкладываю зерна: это министры, архиереи, генералы, дальше – дворянство, купечество, а вот эти фасоли кучей – простой народ. Теперь спрашиваю: где царь? Он показывает в середку. Где министры? Показывает кругом. Как я ему сказал, так он и мне говорит. Ну, теперь постой, – говорит Иван Андреевич, – теперь погоди». Он вовсе закрывает левый глаз и делает паузу. «Тут я, значит, рукой все эти фасоли и перемешал. А ну-ка покажи, где царь? Где министры? Да кто ж его, говорит, теперь узнает? Теперь его не найдешь... Вот то-то, говорю, и есть, что не найдешь, вот так, говорю, и надо все фасоли перемешать».

Я даже вспотел от восторга, слушая Ивана Андреевича. Вот это настоящее, а мы мудрили, да гадали, да дожидались. Машина играет – конспирация, Иван Андреевич на фасолях классовую механику ниспровергает – революционная пропаганда.

– Только как их перемешать, едят их мухи, вот в чем дело? – говорит Мухин уже другим тоном и глядит на меня строго, в оба глаза. – Это ведь не фасоли, а? – И теперь уже он ждет ответа с моей стороны.

С этого дня мы окунулись с головой в работу. У нас не было старших руководителей, не хватало собственного опыта, но ни трудностей, ни замешательства мы не испытывали, пожалуй, ни разу. Одно вытекало из другого так же неотразимо, как в трактирной беседе с Мухиным.

Экономическая жизнь России в конце прошлого столетия резко передвигалась на юго-восток. На юге воздвигались один за другим крупные заводы, два из них в Николаеве. В 1897 г. считалось в Николаеве около 8000 заводских рабочих да около 2000 ремесленных. Культурный уровень рабочих, как и заработок, были сравнительно высоки. Безграмотные составляли ничтожный процент. Место революционных организаций занимало до некоторой степени сектантство, успешно ведущее борьбу с казенным православием. За отсутствием больших тревог жандармерия в Николаеве мирно дремала. Это оказалось нам как нельзя более на руку. При серьезной постановке сыска мы были бы арестованы в первые же недели. Но мы являлись пионерами и имели все выгоды этого. Жандармов мы раскачали лишь после того, как раскачали николаевских рабочих.

Знакомясь с Мухиным и его друзьями, я назвал себя Львовым. Эта первая конспиративная ложь далась мне нелегко: было прямо-таки мучительным «обманывать» людей, с которыми сходишься для такого большого и хорошего дела. Но кличка Львова очень скоро за мной закрепилась, и я сам привык к ней.

Рабочие шли к нам самотеком, точно на заводах нас давно ждали. Каждый приводил приятеля, некоторые приходили с женами, несколько пожилых рабочих вошли в кружки с сыновьями. Не мы искали рабочих, а они нас. Молодые и неопытные руководители, мы скоро стали захлебываться в вызванном нами движении. Каждое слово встречало отклик. На подпольные чтения и беседы, по квартирам, в лесу, на реке собиралось 20–25 человек и более. Преобладали рабочие высокой квалификации, недурно зарабатывавшие. На николаевском судостроительном заводе уже тогда существовал восьмичасовой рабочий день. Стачками эти рабочие не интересовались, они искали правды социальных отношений. Некоторые из

них называли себя баптистами, штундистами, евангельскими христианами. Но это не было догматическое сектантство. Рабочие просто отходили от православия, баптизм становился для них коротким этапом на революционном пути. В первые недели наших бесед некоторые из них еще употребляли сектантские обороты и прибегали к сравнениям с эпохой первых христиан. Но почти все скоро освободились от этой фразеологии, над которой бесцеремонно потешались более молодые рабочие.

Наиболее яркие фигуры и сегодня стоят передо мной как живые. Столяр Коротков, в котелке, давно разделавшийся со всякой мистикой, балагур и стихотворец. «Я – рационалист» (рационалист), – говорил он торжественно. А когда Тарас Савельевич, старый евангелист, у которого уже были внучата, в сотый раз начинал говорить о первых христианах, которые так же, как и мы, собирались втайне, Коротков обрывал его: мне твоя богословия – вот! И он снимал с головы свой котелок и швырял его с негодованием куда-то вверх, промеж деревьев. Потом, постояв, отправлялся разыскивать свой головной убор. Дело происходило в лесу на песках.

Многие рабочие, захваченные новыми чувствами, стали сочинять стихи. Коротков написал «пролетарский марш», который начинался так: «Мы альфы и омеги, начала и концы». Нестеренко, тоже плотник, участвовавший в кружке Александры Львовны Соколовской вместе со своим сыном, сочинил украинскую думку про Карла Маркса. Ее распевали хором. Но сам Нестеренко кончил плохо: связался с полицией и выдал ей всю организацию.

Молодой чернорабочий Ефимов, русский гигант с голубыми глазами, из офицерской семьи, хорошо грамотный, даже начитанный, жил на самом дне города. Я разыскал его в обжорке босяков. Ефимов работал в порту грузчиком, не пил и не курил, был сдержан и вежлив, но в нем жила какая-то тайна, делавшая его мрачным, несмотря на его 21 год. Ефимов вскоре поведал мне, будто познакомился с таинственной организацией народовольцев и предложил свести нас с ними. Втроем – я, Мухин и Ефимов – пили чай в шумном трактире «Россия», слушали оглушительную музыку машины и ждали. Наконец Ефимов показал нам глазами большого, плотного человека с купеческой бородкой. «Он». Человек этот долго пил за отдельным столиком чай, потом встал одеваться и автоматическим жестом перекрестился на иконы. «Вот так народоволец!» – ахнул потихоньку Мухин. «Народоволец» уклонился от знакомства, передав через Ефимова какое-то туманное объяснение. История осталась таинственной навсегда. Сам Ефимов вскоре подвел свои счета с жизнью, удушив себя угольным газом. Возможно, что гигант с голубыми глазами был просто игрушкой в руках сыщика, но возможно и худшее...

Мухин, электротехник по профессии, устроил у себя в квартире сложную систему сигнализации на случай полицейского налета. Мухину было 27 лет, он понемножку кашлял кровью, был богат житейским опытом, полон практической мудрости и казался мне чуть не стариком. Мухин остался революционером на всю жизнь. После первой его ссылки последовала новая тюрьма, затем новая ссылка. Я встретился с ним после перерыва в 23 года на конференции украинской коммунистической партии в Харькове. Мы долго сидели в углу, перетрагивая старину, вспоминая отдельные эпизоды и рассказывая друг другу о дальнейшей судьбе тех лиц, с которыми были связаны на заре революции. На этой конференции Мухин был выбран в центральную контрольную комиссию украинской партии. Он вполне заслужил такого избрания всей своей жизнью. Но уже вскоре после конференции Мухин слег и больше не поднимался.

Сейчас же после нашего знакомства Мухин свел меня со своим приятелем, тоже из сектантов. Бабенкой, у которого был свой небольшой домик и свои яблони во дворе. Бабенко был хром, медлителен, всегда трезв и научил меня чай пить с яблоками, вместо лимона. Вместе с другими Бабенко был арестован, изрядно посидел, потом опять вернулся в Николаев. Судьба нас развела совсем. Случайно прочитал я в какой-то газете в 1925 г., что на

Кубани проживает бывший член Южно-русского рабочего союза Бабенко. К этому времени у него отнялись ноги. Мне удалось добиться – в 1925 г. это было для меня уже нелегко – перевода старика в Ессентуки для лечения. Ноги опять стали ходить. Я посетил Бабенко в его санатории. Он не знал, что Троцкий и Львов – одно и то же лицо. Мы опять с ним пили чай с яблоками и вспоминали прошлое. То-то, должно быть, он удивился, услышав вскоре, что Троцкий – контрреволюционер!

Много было интересных фигур, всех не перечислить. Была прекрасная молодежь, очень культурная, прошедшая техническую школу при судостроительном заводе. Она понимала руководителя с полуслова. Революционная пропаганда оказалась, таким образом, несравненно доступнее, чем рисовалась в мечтах. Нас поражала и опьяняла высокая продуктивность работы. Из рассказов о революционной деятельности мы знали, что число распропагандированных рабочих выражалось обычно немногими единицами. Революционер, который привлек двух-трех рабочих, считал это неплохим успехом. У нас же число рабочих, входивших и желавших войти в кружки, казалось практически неограниченным. Недостаток был только за руководителями. Не хватало литературы. Руководители рвали друг у друга из рук один-единственный заношенный рукописный экземпляр «Коммунистического манифеста» Маркса – Энгельса, списанный разными почерками в Одессе, с многочисленными пропусками и искажениями.

Вскоре мы сами начали создавать литературу. Это и было собственно началом моей литературной работы. Оно почти совпало с началом революционной работы. Я писал прокламации или статьи, затем переписывал их печатными буквами для гектографа. О пишущих машинках тогда еще не подозревали. Я выводил печатные буквы с величайшей тщательностью, считая делом чести добиться того, чтобы даже плохо грамотному рабочему можно было без труда разобрать прокламацию, сошедшую с нашего гектографа. Каждая страница требовала не менее двух часов. Иногда я в течение недели не разгибал спины, отрываясь только для собраний и занятий в кружках. Зато какое чувство удовлетворения доставляли сведения с заводов и с цехов о том, как рабочие жадно читали, передавали друг другу и горячо обсуждали таинственные листки с лиловыми буквами. Они воображали себе автора листов могущественной и таинственной фигурой, которая проникает во все заводы, знает, что происходит в цехах, и через 24 часа уже отвечает на события свежими листками.

Первоначально мы варили гектограф и печатали прокламации у себя в комнате по ночам. Кто-нибудь стоял во дворе на страже. В открытой печке заготовлены были спички и керосин, чтоб в случае опасности сжечь улики. Все было крайне наивно. Но николаевские жандармы были тогда немногим опытнее нас. Позже мы перенесли свою печатню на квартиру пожилого рабочего, который потерял зрение при несчастном случае в цехе. Квартиру он предоставил нам без колебаний. «Для слепого везде тюрьма», – говорил он со спокойной усмешкой. Постепенно мы сосредоточивали у него большой запас глицерина, желатина и бумаги. Работали ночью. Запущенная комната с потолком над самой головой имела жалкий, поистине нищенский вид. На железной печке мы готовили революционное варево, выливая его затем на жестяной лист. Слепой уверенней всех двигался в полутемной комнате, помогая нам. Молодой рабочий и работница с благоговением взглядывали друг на друга, когда я снимал с гектографа свежее отпечатанный лист. Если б сверху «трезвым» взглядом поглядеть на эту группку молодежи, копошащейся в полутьме вокруг жалкого гектографа, – какой убогой фантазией представился бы ее замысел повалить могущественное вековое государство? И однако же замысел удался на протяжении одного человеческого поколения: до 1905 г. прошло с тех ночей всего восемь лет, до 1917 – неполных двадцать лет.

Устная пропаганда не давала мне, пожалуй, такого удовлетворения, как печатная. Знания были недостаточны, и не хватало умения надлежащим образом преподнести их. Речей в подлинном смысле у нас почти еще не было. Один только раз в лесу, в день первого мая, мне

пришлось сказать нечто вроде речи. Это повергло меня в величайшее смущение. Каждое собственное слово, прежде чем оно выходило из горла, казалось мне невыносимо фальшивым. Но беседы в кружках удавались иногда неплохо. В общем же революционная работа шла полным ходом. Связи с Одессой я поддерживал и развивал. Вечером я шел на николаевскую пристань, брал за рубль билет третьего класса, укладывался на палубе парохода, поближе к трубе, клал под голову пиджак и укрывался пальто. Утром я просыпался в Одессе и отправлялся по знакомым адресам. Следующую ночь опять проводил на пароходе. Таким образом, я не тратил лишнего времени на езду. Связи мои в Одессе неожиданно обогатились. У входа в Публичную библиотеку я познакомился с рабочим в очках: мы поглядели друг на друга пристально и догадались друг о друге. Это был Альберт Поляк, наборщик, организатор знаменитой впоследствии центральной типографии партии. Знакомство с ним составило эпоху в жизни нашей организации. Уже через несколько дней я доставил в Николаев чемодан, наполненный нелегальной литературой заграничного издания. Это были сплошь новенькие агитационные брошюры в веселых цветных обложках. Мы по многу раз открывали чемодан, чтоб полюбоваться своим сокровищем. Брошюры быстро разошлись по рукам и сильно подняли наш авторитет в рабочих кругах.

От Поляка я случайно узнал в беседе, что техник Шренцель, выдававший себя за инженера и давно тершийся вокруг нас, – старый провокатор. Это был глупый и назойливый человек в форменной фуражке со значком. Мы инстинктивно не доверяли ему, но кое-кого и кое-что он знал. Я пригласил Шренцеля на квартиру к Мухину. Здесь я подробно изложил биографию Шренцеля, не называя его, и довел его этим до полной невменяемости. Мы пригрозили ему, в случае выдачи, короткой расправой. По-видимому, это подействовало, так как месяца три после того нас не тревожили. Зато после нашего ареста Шренцель громоздил в своих показаниях ужасы на ужасы.

Организацию мы назвали «Южно-русским рабочим союзом», имея в виду втянуть и другие города. Я составил устав Союза в социал-демократическом духе. Администрация пыталась выступить против нас с речами на заводах. Мы на другой день отвечали прокламациями. Эта дуэль взволновала не только рабочих, но и широкие круги городского населения. Весь город говорил под конец о революционерах, которые наводняют заводы своими листками. Наши имена называли со всех сторон. Но полиция медлила, не веря, что «мальчишки из сада» способны вести такую кампанию, и предполагая, что за нашей спиной стоят более опытные руководители. Они подозревали, по-видимому, старых ссыльных. Это дало нам два-три лишних месяца. Но в конце концов слежка за нами приняла слишком явный характер, и жандармы узнавали неизбежно один кружок за другим. Мы решили на несколько недель разъехаться из Николаева в разные стороны, чтоб оборвать полицейскую нить. Я должен был поехать в деревню к родителям, Соколовская с братом – в Екатеринослав и т. д. В то же время мы твердо решили в случае повальных арестов не скрываться, а дать арестовать себя, чтоб жандармы не могли говорить рабочим: «Руководители вас покинули».

Перед моим отъездом Нестеренко потребовал, чтоб я непосредственно ему передал пачку прокламаций. Он назначил встречу за кладбищем поздно вечером. Лежал глубокий снег. Ночь была лунная. За кладбищем открывалось совершенно пустынное пространство. Нестеренко я нашел на условленном месте. Но в тот момент, когда я передавал ему вынутый из-под полы пакет, от кладбищенской стены отделилась фигура и прошла близко возле нас, задев Нестеренко локтем. «Кто это?» – спросил я с удивлением. «Не знаю», – ответил Нестеренко, глядя уходящему вслед. Он уже был тогда в связи с полицией. Но мне и в голову не пришло заподозрить его.

28 января 1898 г. произведены были массовые аресты. Всего выхвачено было свыше 200 человек. Пошла расправа. Один из арестованных, солдат Соколов, был доведен запугиваниями до того, что бросился из тюремного коридора второго этажа вниз, но отделался

тяжелыми ушибами. Другого из заключенных, Левандовского, жандармы довели до психического расстройства. Были и еще жертвы.

Среди арестованных было много случайного народу. Некоторые из тех, на кого мы надеялись, отходили, даже выдавали. Наоборот, кое-кто из тех, которые стояли в тени, показали силу характера. Арестованным, и надолго, оказался почему-то токарь – немец Август Дорн, лет пятидесяти, всего раз или два заглянувший в кружок. Он держал себя великолепно, пел на всю тюрьму веселые, не всегда, правда, добродетельные немецкие песенки, шутил на ломаном русском языке, поддерживая дух молодых. В московской пересыльной тюрьме, где мы сидели в общей камере, Дорн убеждал самовар приблизиться к нему и заканчивал диалог так: «Не хочешь, тогда Дорн пойдет к тебе!» И хотя сцена повторялась изо дня в день, все добродушно смеялись.

Николаевская организация получила жестокий удар, но не исчезла. Нас скоро заменили другие. И революционеры, и жандармы становились опытнее.

Глава VIII. МОИ ПЕРВЫЕ ТЮРЬМЫ

При общей облаве в январе 1898 г. я был арестован не в Николаеве, а в имении крупного помещика Соковника, куда Швиговский перешел на службу садовником. Я заехал к нему по пути из Яновки в Николаев, с большим портфелем рукописей, рисунков, писем и всякого вообще нелегального материала. На ночь Швиговский спрятал опасный пакет в яму с капустой, а на рассвете, отправляясь сажать лес, вынул папку из ямы, чтоб передать мне для работы. В это время как раз и нагрянули жандармы. Швиговский успел в передней бросить пакет за кадку с водой. Экономке, которая под надзором жандармов кормила нас обедом, Швиговский успел шепнуть, чтоб она унесла папку и спрятала получше. Старуха не нашла ничего другого, как зарыть папку в саду в снег. Мы твердо считали, что документы не попадут в руки врага. Наступила весна, снег стаял, выросла трава и снова скрыла папку, разбухшую от весенней воды. Мы сидели в тюрьме. Наступило лето. Рабочий косил в помещицьем саду траву, два его мальчика, игравшие тут же, наткнулись на пакет и передали отцу, тот снес его в барский дом, а перепуганный насмерть либеральный помещик немедленно свез бумаги в Николаев и сдал их жандармскому полковнику. Почерки рукописей послужили уликой против нескольких лиц.

Старая николаевская тюрьма совсем не была приспособлена для политических, да еще в таком числе. Я попал в одну камеру с молодым переплетчиком Явичем. Камера была очень велика, человек на тридцать, без всякой мебели и еле отапливалась. В двери был большой квадратный вырез в коридор, открытый прямо на двор. Стояли январские морозы. На ночь нам клали на пол соломенник, а в шесть часов утра выносили его. Подниматься и одеваться было мукой. В пальто, в шапках и калошах мы садились с Явичем плечо к плечу на пол и, упершись спинами в чуть теплую печь, грезили и дремали час-два. Это было, пожалуй, самое счастливое время дня. На допрос нас не звали. Мы бегали из угла в угол, чтоб согреться, предавались воспоминаниям, догадкам и надеждам. Я стал заниматься с Явичем науками. Так прошло недели три. Потом наступила перемена. Меня вызвали в тюремную контору с вещами и передали двум рослым жандармам, которые перевезли меня на лошадях в херсонскую тюрьму. Это было еще более старое здание. Камера была просторная, но с узким, наглухо заделанным окном в тяжелом железном переплете, едва пропускавшем свет. Одиночество было полное, абсолютное, беспросветное. Ни прогулок, ни соседей. Из заделанного позимнему окна ничего не было видно. Передач с воли я не получал. У меня не было ни чаю, ни сахара. Арестантскую похлебку давали раз в день, в обед. Паек ржаного хлеба с солью служил мне завтраком и ужином. Я вел с собой длинные диалоги о том, имею ли я право увеличить утреннюю порцию за счет вечерней. Утренние доводы казались вечером бессмысленными и преступными. За ужином я ненавидел того, который завтракал. У меня не было смены белья. Три месяца я носил одну и ту же пару. У меня не было мыла. Тюремные паразиты ели меня заживо. Я давал себе урок: пройти по диагонали тысячу сто одиннадцать шагов. Мне шел девятнадцатый год. Изоляция была абсолютная, какой я позже не знал нигде и никогда, хотя побывал в двух десятках тюрем. У меня не было ни одной книги, ни карандаша, ни бумаги. Камера не проветривалась. О том, какой в ней воздух, я судил по гримасе помощника начальника, когда он входил ко мне. Я откусывал кусочек тюремного хлеба, ходил по диагонали и сочинял стихи. Народническую «дубинушку» я переделал на пролетарскую «машинушку». Я сочинил революционную «камаринскую». Весьма посредственного качества, стихи эти позже приобрели большую популярность. Они перепечатываются в песенниках и сейчас. Но иногда меня грызла жестокая тоска одиночества. Тогда я преувеличенно твердо отсчитывал стоптанными подметками тысячу сто одиннадцать шагов. К концу третьего месяца, когда тюремный хлеб, мешок, набитый соломой, и вши стали

для меня незыблемыми элементами жизни, как день и ночь, надзиратели вечером внесли ко мне гору предметов из другого, фантастического мира: свежее белье, одеяло, подушку, белый хлеб, чай, сахар, ветчину, консервы, апельсины, яблоки, да, большие ярко окрашенные апельсины... И сейчас, через 31 год, я не без волнения перечисляю эти замечательные предметы и уличаю себя в том, что упустил баночку варенья, мыло и гребешок. «Это вам мать доставила», – сказал мне помощник. И как ни плохо я тогда читал в человеческих душах, но по тону его понял сразу, что он получил взятку.

Скоро меня перевезли на пароходе в Одессу и там поместили в одиночную тюрьму, построенную за несколько лет перед тем, по последнему слову техники. После Николаева и Херсона одесская одиночка показалась мне идеальным учреждением. Перестукивания, запи-сочки, «телефон», прямой крик через окна – словом, служба связи действовала почти непрерывно. Я выстукивал соседям свои херсонские стихи, они снабжали меня в ответ новостями. От Швиговского я успел через окно узнать о полученном жандармами пакете с моими бумагами и потому без труда расстроил план подполковника Дремлюги, пытавшегося устроить мне ловушку. Нужно сказать, что в тот период мы еще не начали отказываться от дачи показаний, как несколько лет спустя.

Тюрьма была переполнена после всероссийского весеннего провала. 1 марта 1898 г., во время моего сиденья в херсонской тюрьме, собрался в Минске учредительный съезд социал-демократической партии. Он состоял всего из девяти человек и сейчас же потонул в волне арестов. Через несколько месяцев о нем уже не говорили. Но позднейшие последствия его сказались на истории всего человечества... Принятый манифест рисовал такую перспективу политической борьбы: «...чем дальше на восток Европы, тем, в политическом отношении, трусливее и подлее становится буржуазия и тем большие культурные и политические задачи выпадают на долю пролетариата». Не лишен исторической пикантности тот факт, что автором манифеста был небезызвестный Петр Струве, ставший позже лидером либерализма, а еще позже публицистом церковной и монархической реакции.

Первые месяцы пребывания в одесской тюрьме я не получал книг извне и вынужден был довольствоваться тюремной библиотекой. Она состояла главным образом из консервативно-исторических и религиозных журналов за долгий ряд лет. Я штудировал их с неутолимой жадностью. Я знал все секты и все ереси старого и нового времени, все преимущества православного богослужения, самые лучшие доводы против католицизма, протестантизма, толстовства, дарвинизма. Христианское сознание, читал я в «Православном обозрении», любит истинные науки, и в том числе естествознание, как умственную родственницу веры. Чудо с ослицей Валаама, вступившей в дискуссию с пророком, не может быть опровергнуто и с естественнонаучной точки зрения: «Ведь существуют же говорящие попугаи и даже канарейки». Этот довод архиепископа Никанора занимал меня целыми днями и иногда снился даже по ночам. Исследования о бесах или демонах, об их князьях, дьяволе и об их темном бесовском царстве каждый раз заново поражали и в своем роде восхищали молодую рационалистическую мысль кодифицированной глупостью тысячелетий. Пространное изыскание о рае, об его внутреннем устройстве и о месте нахождения заканчивалось меланхолической нотой: «Точных указаний о месте нахождениярая нет». Я повторял эту фразу за обедом, за чаем и на прогулке. Насчет географической долготы райских блаженств указаний нет. С жандармским унтером Миклиным я затевал при каждом подходящем случае богословские препирательства. Миклин был жаден, лжив, злобен, начитан в священных книгах и благочестив до крайности. Перебегая с ключами по звонким железным лестницам, он мурлыкал церковные напевы. «За одно, за одно единственное слово христородица, вместо богородица, – внушал мне Миклин, – у еретика Ария живот лопнул». «А почему теперь у еретиков животы в сохранности?» – «Теперь, теперь... – отвечал обиженно Миклин, – теперь другие времена».

Прибывшая из деревни сестра доставила мне, по моей просьбе, четыре Евангелия на иностранных языках. Опираясь на школьное знакомство с немецким и французским языком, я, стих за стихом, читал Евангелие также и по-английски и по-итальянски. За несколько месяцев я значительно продвинулся, таким образом, вперед. Нужно, однако, сказать, что мои лингвистические способности весьма посредственны. В совершенстве я и сейчас не знаю ни одного иностранного языка, хотя долго жил в разных странах Европы.

Во время свиданий с родными заключенных помещали в узенькие деревянные клетки, отделенные от посетителей двумя решетками. При первой встрече со мной отец вообразил, что я все время заключения вынужден стоять в этом тесном ящике. Внутреннее содрогание лишило его речи. В ответ на мои вопросы он беззвучно шевелил побелевшими губами. Никогда не забуду его лица. Мать явилась уже предупрежденной и была спокойнее.

Отголоски мировых событий доходили до нас в виде осколков. Южноафриканская война еле затронула нас. Мы были еще в полном смысле слова провинциалами. Борьбу англичан с бурами мы склонны были истолковывать главным образом с точки зрения неизбежности победы крупного капитала над мелким. Дело Дрейфуса, достигшее в тот момент своей кульминации, время от времени захватывало нас своим драматизмом. К нам однажды проник слух, что во Франции произошел переворот и восстановлена королевская власть. Мы были охвачены чувством несмываемого позора. Жандармы бегали в беспокойстве по железным коридорам и лестницам, чтоб унять стук и крики. Они думали, что нам снова дали несвежий обед. Нет, политический флигель тюрьмы бурно протестовал против реставрации монархии во Франции.

Статьи о франкмасонстве в богословских журналах заинтересовали меня. «Откуда взялось это странное течение? — спрашивал я себя. — Как объяснил бы его марксизм?» Я сравнительно долго сопротивлялся историческому материализму, держась за теорию множественности исторических факторов, которая и сейчас остается, как известно, наиболее широко распространенной теорией социальной науки. Разные стороны своей общественной деятельности люди называют факторами, придают этому понятию сверхобщественный характер и свою собственную общественную деятельность суеверно объясняют затем как продукт взаимодействия этих самостоятельных сил. Откуда взялись факторы, т. е. под действием каких условий они развились из первобытного человеческого общества, — на этом официальная эклектика едва останавливается. Я с восторгом читал в своей камере два известных очерка старого итальянского гегелианца-марксиста Антонио Лабриолы, проникших в тюрьму на французском языке. Как немногие из латинских писателей, Лабриола овладел материалистической диалектикой если не в политике, где он был беспомощен, то в области философии истории. Под блестящим дилетантизмом его изложения скрывалась на самом деле настоящая глубина. С теорией многочисленных факторов, населяющих Олимп истории и оттуда управляющих нашими судьбами, Лабриола расправлялся великолепно. Хотя с того времени, как я читал его опыты, прошло тридцать лет, но общий ход его мыслей крепко врезался в мою память, как и постоянный припев: «Идеи не падают с неба». Бессильными показались мне после этого русские теоретики многообразия факторов: Лавров, Михайловский, Кареев и другие. Много позже я никак не мог понять тех марксистов, на которых оказала влияние бесплодная книга немецкого профессора Штаммлера «Хозяйство и право», представляющая одну из бесчисленных попыток пропустить великий естественноисторический и исторический поток, идущий от амебы к нам и от нас дальше, через замкнутые кольца вечных категорий, представляющие на деле лишь отпечатки живого процесса в мозгу педанта.

В этот именно период меня заинтересовал вопрос о франкмасонстве. Я в течение нескольких месяцев усердно читал книги по истории масонства, которые мне доставлялись родными и друзьями из города. Почему, для чего торговцы, художники, банкиры, чиновники и адвокаты стали называть себя с первой четверти XVII века каменщиками, воссо-

здавая ритуал средневекового цеха? Откуда этот странный маскарад? Постепенно картина становилась мне яснее. Старый цех был не только производственной, но и морально-бытовой организацией. Он охватывал жизнь городского населения со всех сторон, особенно цех полуремесленников, полуартистов строительного дела. Распад цехового хозяйства означал моральный кризис общества, едва оставившего позади средневековье. Новая мораль складывалась гораздо медленнее, чем разрушалась старая. Отсюда столь нередкая в человеческой истории попытка сохранить те формы нравственной дисциплины, под которыми исторический процесс давно уже подкопал социальные, в данном случае производственно-цеховые основы. Оперативное масонство превратилось в спекулятивное масонство. Но как всегда в таких случаях, пережившие себя морально-бытовые формы, за которые люди пытались держаться ради них самих, получали под напором жизни совершенно новое содержание. В отдельных ветвях франкмасонства были сильны элементы прямой феодальной реакции, как в шотландской системе. В XVIII веке формы франкмасонства заполняются в ряде стран содержанием воинственного просветительства, иллюминатства, выполняющего предреволюционную роль, а на левом своем фланге переходящего в карбонарство. К франкмасонам принадлежал Людовик XVI, но также и доктор Гильотен, изобретший гильотину. В Южной Германии франкмасонство принимало явно революционный характер, а при дворе Екатерины стало маскарадным отражением дворянско-чиновничьей иерархии. Франкмасона Новикова франкмасонская императрица сослала в Сибирь.

Если сейчас, в эпоху готового и дешевого платья, уже никто почти не донашивает редингот своего дедушки, то в области идейной рединготы и кринолины занимают еще очень большое место. Идейный инвентарь переходит от поколения к поколению, несмотря на то, что от бабушкиных подушек и одеял отдает кислым запахом. Даже вынужденные менять существо своих взглядов люди втискивают его чаще всего в старые формы. В технике нашего производства произошел переворот гораздо более могущественный, чем в технике нашего мышления, которое предпочитает штопать и перелицовывать, вместо того чтобы строить заново. Вот почему французские мелкобуржуазные парламентарии, стремясь противопоставить распыляющей силе современных отношений некоторое подобие нравственной связи людей между собою, не находят ничего лучшего, как надеть белый фартук и вооружиться циркулем или отвесом. Сами они при этом собственно имеют в виду не строить новое здание, а лишь проникнуть в давно построенное здание парламента или министерства.

Так как в тюрьме при выдаче новой тетради отбирали исписанную, то я завел себе для франкмасонства тетрадь в тысячу нумерованных страниц и мелким бисером записывал в нее выдержки из многочисленных книг, чередуя их со своими собственными соображениями о франкмасонстве и о материалистическом понимании истории. Работа эта заняла в общем около года. Я обрабатывал отдельные главы, переписывал их в контрабандные тетради и посылал на просмотр к друзьям в других камерах. Для этого у нас была очень сложная система, называвшаяся телефоном. Адресат, если его камера была недалеко от моей, навязывал на веревочку тяжелый предмет и приводил этот снаряд во вращательное движение, высунув руку как можно дальше за решетку окна. Условившись заранее по стуку, я как можно дальше высовывал половую щетку за окно и, когда грузило обматывалось вокруг нее, втягивал щетку к себе и привязывал к концу веревки свою рукопись. Если адресат находился далеко, то передача производилась через ряд посредствующих этапов, что, конечно, очень усложняло дело.

К концу моего пребывания в одесской тюрьме толстая тетрадь, заверенная и скрепленная подписью старшего жандармского унтер-офицера Усова, стала настоящим кладом исторической эрудиции и философской глубины. Не знаю, можно ли было бы ее напечатать сегодня в таком виде, в каком она была написана. Я слишком многое узнавал одновременно из разных областей, эпох и стран и, боюсь, слишком многое хотел сразу сказать в своей пер-

вой работе. Но думаю, что основные мысли и выводы были верны. Я уже чувствовал себя тогда достаточно устойчиво на ногах, и это чувство росло по мере работы. Я многое сейчас дал бы, чтобы разыскать эту толстую тетрадь. Она сопровождала меня и в ссылку, где я, правда, прекратил работу над масонством, перейдя к изучению экономической системы Маркса. После побега за границу Александра Львовна доставила мне эту тетрадь из ссылки через родителей, когда они посетили меня в Париже в 1903 г. Тетрадь осталась вместе со всем моим скромным эмигрантским архивом в Женеве, когда я нелегально уехал в Россию, и вошла в состав архива «Искры», который стал для нее преждевременной могилой. После вторичного побега из Сибири за границу я тщетно пытался разыскать свою работу. По-видимому, ее израсходовала на растопку печей или на другие надобности та швейцарская хозяйка, которой архив был сдан на хранение. Я не могу не послать упрека этой почтенной женщине.

То обстоятельство, что работу над франкмасонством я производил в тюремных условиях, располагая очень ограниченным количеством книг, пошло мне на пользу. С основной марксистской литературой я не был до этого времени знаком вовсе. Очерки Антонио Лабриолы имели характер философских памфлетов. Они предполагали знания, которых у меня не было и которые мне приходилось заменять догадками. От опытов Лабриолы я отошел с целым ворохом гипотез в голове. Работа над франкмасонством явилась для меня проверкой собственных гипотез. Я не открыл ничего нового. Все те методологические выводы, к которым я приходил, давно уже были сделаны и применялись на деле. Но я приходил к ним ощупью и до некоторой степени самостоятельно. Думаю, что это имело значение для всего моего дальнейшего идейного развития. Я находил затем в работах Маркса, Энгельса, Плеханова, Меринга подтверждение того, что в тюрьме мне казалось моей собственной догадкой, еще только подлежащей проверке и обоснованию. Исторический материализм не был мною воспринят сразу в догматической форме. Диалектика предстала предо мною впервые не в абстрактных своих определениях, а в виде живой пружины, которую я находил в самом историческом процессе, поскольку старался понять его.

В стране тем временем начинался прибой. Тут историческая диалектика тоже работала на славу, но практически и в очень широком масштабе. Студенческое движение вылилось в демонстрации. Казаки стегали студентов. Либералы возмущались, ибо обижали их сыновей. Социал-демократия крепла, все больше сливаясь с рабочим движением. Революция переставала быть привилегированным занятием интеллигентских кружков. Число арестованных рабочих росло. В тюрьме становилось, несмотря на тесноту, легче дышать. К концу второго года мы получили приговор по делу Южно-русского союза: четыре главных обвиняемых сослались на 4 года в Восточную Сибирь. Нам пришлось еще провести свыше полугода в московской пересыльной тюрьме. Это было время усиленной теоретической работы. Здесь я впервые услышал о Ленине и проштудировал его незадолго перед тем вышедшую книгу о развитии русского капитализма. Здесь я написал и передал на волю брошюру о рабочем движении в Николаеве, напечатанную вскоре в Женеве. Из московской пересыльной нас увезли летом. Далее следовали еще остановки в ряде тюрем. На место ссылки мы попали только осенью 1900 г.

Глава IX. ПЕРВАЯ ССЫЛКА

Мы спускались вниз по Лене. Течение медленно сносило несколько барж с арестантами и конвоем. По ночам было холодно, и шубы, которыми мы укрывались, обрастали под утро инеем. По пути в заранее назначенных деревнях высаживали одного-двух. До села Усть-Кут плыли, помнится, около трех недель. Здесь ссадили меня вместе с близкой мне ссылкой по николаевскому делу. Александра Львовна занимала одно из первых мест в Южно-русском рабочем союзе. Глубокая преданность социализму и полное отсутствие всего личного создали ей непререкаемый нравственный авторитет. Совместная работа тесно связала нас. Чтоб не быть поселенными врозь, мы обвенчались в московской пересыльной тюрьме.

В селе было около сотни изб. Мы поселились в крайней. Кругом лес, внизу река. Дальше к северу по Лене лежат золотые прииски. Отблеск золота играл на всей Лене. Усть-Кут знал раньше лучшие времена – с неистовым разгулом, грабежом и разбоем. Но в наше время село затихло. Пьянство, впрочем, осталось. Хозяин и хозяйка нашей избы пили непробудно. Жизнь темная, глухая, в далекой дали от мира. Тараканы наполняли ночью тревожным шорохом избу, ползали по столу, по кровати, по лицу. Приходилось время от времени выселяться на день два и открывать настежь двери на 30-градусный мороз. Летом мучила мошकारа. Она заедала насмерть корову, заблудившуюся в лесу. Крестьяне носили на лицах сетки из конского волоса, смазанного дегтем. Весною и осенью село утопало в грязи. Зато природа была прекрасна. Но в те годы я был холоден к ней. Мне как бы жалко было тратить внимание и время на природу. Я жил меж лесов и рек, почти не замечая их. Книги и личные отношения поглощали меня. Я изучал Маркса, сгоняя тараканов с его страниц.

Лена была великим водным путем ссылки. Окончившие срок возвращались по реке на юг. Связь отдельных ссылных гнезд, которые росли вместе с революционным прибоем, почти не прерывалась. Ссылные обменивались письмами, выставлявшими в теоретические трактаты. Переводы с места на место давались иркутским губернатором сравнительно легко. Мы переехали с Александрой Львовной за 250 верст восточнее, на реку Илим, где были друзья. Там я служил короткое время конторщиком у купца-миллионера. Его склады пушнины, лавки и кабаки раскиданы были на пространстве, равном Бельгии и Голландии вместе. Это был могущественный торговый феодал. Многие тысячи подвластных ему тунгусов он называл «мои тунгусишки». Подписать фамилию он не умел и ставил крест. Жил скупно и скудно целый год и прокучивал десятки тысяч на нижегородской ярмарке. Я прослужил у него полтора месяца. Однажды я записал фунт краски-медянки как пуд и послал в отдаленную лавку чудовищный счет. Моя репутация была подорвана, и я взял расчет. Мы снова вернулись в Усть-Кут. Стояла лютая зима, морозы доходили до 44 градусов по Реомюру. Ямщик рукавицей сдирает льдины с лошадиных морд. На коленях у меня была десятимесячная девочка. Она дышала через меховую трубу, сооруженную над ее головой. На каждой остановке мы с тревогой извлекали девочку из ее оболочек. Путешествие прошло все же благополучно. Но в Усть-Куте мы пробыли недолго. Через несколько месяцев губернатор разрешил нам переселиться несколько южнее, в Верхоленск, где были друзья.

Аристократию ссылки составляли старики народники, которые успели за долгие годы так или иначе устроиться. Молодые марксисты составляли особый слой. При мне уже потянулись на север рабочие-стачечники, случайно вырванные из массы, часто малограмотные. Для этих рабочих ссылка была незаменимой школой политики и общей культуры. Идейные разногласия, как всегда в местах принудительного скопления людей, осложнялись дразгами. Личные, особенно романические конфликты принимали нередко характер драмы. На этой почве случались и самоубийства. Одного киевского студента мы сторожили в Верхоленске по очереди. Я заметил блестящие металлические стружки на его столе. Потом уж выясни-

лось, что он строгал из свинца пули для охотничьего ружья. Мы не уберегли его. Направив ствол на сердце, он спустил курок пальцем ноги. Мы молча хоронили его на возвышенности. Речей мы тогда еще стеснялись, как фальши. Во всех больших колониях ссылки были могилы самоубийц. Некоторые ссыльные растворялись в окружающей среде, особенно в городах. Другие спивались. Только напряженная работа над собой спасала в ссылке, как в тюрьме.

Нужно сказать, что теоретически работали почти только марксисты.

На большой ленской дороге я познакомился в те годы с Дзержинским, Урицким и другими молодыми революционерами, которым предстояло в будущем играть крупную роль. Каждую новую партию мы ждали с жадностью. Темной весенней ночью, у костра, на берегу широко разлившейся Лены Дзержинский читал свою поэму на польском языке. Лицо и голос были прекрасны, но поэма была слаба. Сама жизнь этого человека стала суровейшей из поэм.

Вскоре по прибытии в Усть-Кут я стал сотрудничать в иркутской газете «Восточное обозрение». Это был легальный провинциальный орган, созданный старыми ссыльными-народниками, но захватывавшийся эпизодически марксистами. Я начал с деревенских корреспонденции, ждал в волнении появления первой из них, был поддержан редакцией, перешел к литературной критике и публицистике. Чтоб найти псевдоним, я раскрыл наудачу итальянский словарь – выпало слово *antidoto*, и в течение долгих лет я подписывал свои статьи Антид Ото, разясняя в шутку друзьям, что хочу вводить марксистское противоядие в легальную печать. Газета неожиданно для меня повысила мой гонорар с двух до четырех копеек за строку. Это было высшим выражением успеха. Я писал о крестьянстве, о русских классиках, об Ибсене, Гауптмане и Ницше, Мопассане и Эстонье, о Леониде Андрееве и Горьком. Я просиживал ночи, черкая свои рукописи вкривь и вкось, в поисках нужной мысли или недостающего слова. Я становился писателем.

С 1896 г., когда я пытался отбиваться от революционных идей, и с 1897-го, когда я уже вел революционную работу, но еще отбивался от теории марксизма, я проделал изрядную часть пути. Ко времени ссылки марксизм окончательно стал для меня основой мирозерцания и методом мышления. Теперь, в ссылке, я попытался подойти под усвоенным мною углом зрения к так называемым «вечным» вопросам человеческой жизни: любви, смерти, дружбе, оптимизму, пессимизму и пр. В разные эпохи и в разной социальной среде человек любит, ненавидит и надеется по-разному. Как дерево через корни питает свои цветы и плоды соками почвы, так личность находит питание для своих чувств и мыслей, хотя бы и самых «высоких», в экономическом фундаменте общества.

В своих тогдашних статьях о литературе я разрабатывал, по существу, почти одну только тему: личность и общество. Не так давно эти статьи вышли отдельным томом. Если б я их писал сегодня, я написал бы их, разумеется, иначе. Но по существу мне ничего изменить в них не пришлось бы.

Официальный или легальный русский марксизм переживал в это время жестокий кризис. Теперь я увидел уже на живом опыте, как бесцеремонно новые социальные потребности создают для себя идейное обмундирование из теоретического сукна, предназначенного совсем для другой цели. До девяностых годов русская интеллигенция коснела в огромной своей части в народничестве, с его отрицанием капитализма и идеализацией крестьянской общины. Между тем капитализм стучался во все двери, обещая интеллигенции в будущем всякие материальные блага и крупную политическую роль. Острый нож марксизма понадобился буржуазной интеллигенции для того, чтобы перерезать народническую пуповину, связывавшую ее с постылым прошлым. Отсюда быстрое и победоносное распространение идей марксизма в последние годы прошлого столетия. Но едва теория Маркса выполнила эту свою задачу, как она уже стала стеснять интеллигенцию. Диалектика была хороша, чтобы доказать прогрессивность капиталистических методов развития. Но там, где начиналось рево-

люционное отрицание самого капитализма, диалектика оказывалась стеснительной и объявлялась устарелой. На рубеже двух столетий – это совпало для меня с годами тюрьмы и ссылки – русская интеллигенция прошла через полосу повальной критики марксизма. Она усваивала из него историческое оправдание капитализма, отбрасывая его революционное отрицание. Такими обходными путями анархически-народническая интеллигенция превращалась в либерально-буржуазную.

Европейская критика марксизма находила теперь в России широкий сбыт, совершенно независимо от своих качеств. Достаточно сказать, что Эдуард Бернштейн стал одним из популярных путеводителей от социализма к либерализму. Нормативная философия все более победоносно вытесняла материалистическую диалектику. Формирующемуся буржуазному общественному мнению нужны были негибкие нормы не только против произвола самодержавной бюрократии, но и против необузданности революционных масс. Опрокинув Гегеля, Кант, однако, недолго удержался на ногах. Русский либерализм пришел поздно и жил с самого начала на вулканической почве. Категорический императив оказался для него слишком абстрактной и ненадежной страховкой. Против революционных масс нужны были более сильнодействующие средства. Трансцендентальные идеалисты превращались в православных христиан. Профессор политической экономии Булгаков начал с ревизии марксизма в аграрном вопросе, перешел к идеализму, а закончил тем, что надел рясу священника. Впрочем, до рясы дело дошло лишь несколько лет спустя.

В первые годы столетия Россия представляла собой огромную лабораторию общественной идеологии. Моя работа над историей франкмасонства достаточно вооружила меня для того, чтоб понимать служебную функцию идей в историческом процессе. «Идеи не падают с неба», – повторял я вслед за стариком Лабриолой. Теперь дело шло уже не о чисто научном интересе, а о выборе политического пути. Ревизия марксизма, шедшая по всем направлениям, помогла мне, как и многим другим молодым революционерам, собраться с мыслями и острее отточить свое оружие. Нам марксизм нужен был не только для того, чтобы разделаться с народничеством, которое лишь чуть задело нас, но прежде всего для того, чтобы открыть непримиримую борьбу против капитализма на его собственной территории. Борьба против ревизии закаляла нас не только теоретически, но и политически. Мы становились пролетарскими революционерами.

В тот же период мы столкнулись с критикой слева. В одной из более северных колоний, кажется, в Вилуйске, проживал ссыльный Махайский, имя которого вскоре затем приобрело довольно широкую известность. Махайский начал с критики социал-демократического оппортунизма. Первая его гектографированная тетрадь, посвященная разоблачению оппортунизма немецкой социалдемократии, имела в ссыльных колониях большой успех. Вторая тетрадь была посвящена критике экономической системы Маркса и подводила к тому неожиданному выводу, что социализм есть общественный строй, основанный на эксплуатации рабочих профессиональной интеллигенцией. Третья тетрадь посвящена была отрицанию политической борьбы в духе анархо-синдикализма. В течение нескольких месяцев работа Махайского стояла в центре внимания ленских ссыльных. Она послужила для меня серьезной прививкой против анархизма, очень размашистого в словесном отрицании, но безжизненного и даже трусливого в практических выводах.

С живым анархистом я впервые встретился в московской пересыльной тюрьме. Это был народный учитель Лузин, замкнутый, неразговорчивый, жесткий. В тюрьме он все время тяготел к уголовным и с интересом слушал их рассказы об убийствах и грабежах. В теоретические рассуждения пускался неохотно. Лишь однажды, когда я стал сильно насесть на него с вопросом о том, как при автономных общинах будут управляться железные дороги, Лузин ответил: а какого черта я стану при анархизме разъезжать по железным дорогам? Этого ответа было для меня вполне достаточно. Лузин пробовал перетягивать на свою

сторону рабочих, и у нас шла глухая борьба, не свободная от враждебности. Мы с ним вместе проделывали путь в Сибирь. Во время половодья Лузин решил переехать через Лену на лодке. Он был нетрезв и бросил мне вызов. Я согласился отправиться вместе с ним. По разлившейся реке несло бревна и трупы животных, было немало водоворотов. Переезд мы совершили не без волнений, но благополучно. Лузин угрюмо выдал мне какое-то словесное свидетельство: хороший товарищ или что-то в этом роде. Наши отношения смягчились. Скоро его, впрочем, отправили дальше на север. Там он через несколько месяцев пырнул исправника ножом. Исправник был неплохой, и рана была неопасная. На суде Лузин заявил, что против исправника лично ничего не имел, но хотел в его лице поразить государственный произвол. Он попал на каторжные работы.

В то время как по далеким занесенным снегом сибирским колониям ссылки страстно обсуждались вопросы о дифференциации русского крестьянства, об английских тред-юнионах, от отношении категорического императива к классовым интересам, о дарвинизме и марксизме, в правительственных сферах шла своя идеологическая борьба. Святейший синод отлучил в феврале 1901 г. Льва Толстого от церкви. Послание синода печаталось во всех газетах. Толстому вменялось в вину шесть преступлений: 1) «отвергает личного живого бога, во святой троице славимого»; 2) «отрицает Христа бого-человека, воскресшего из мертвых»; 3) «отрицает бессеменное зачатие и девство до рождества и по рождестве пречистой богородицы»; 4) «не признает загробной жизни и мздовоздаяния»; 5) «отвергает благодатное действие святого духа»; 6) «подвергает глумлению таинство евхаристии». Бородатые и седовласые митрополиты, Победоносцев, их вдохновляющий, и все другие столпы государства, считавшие нас, революционеров, не только преступниками, но и безумными фанатиками, а себя – представителями трезвой мысли, опирающейся на исторический опыт всего человечества, эти люди требовали от великого художника-реалиста веры в бессеменное зачатие и в святой дух, передающийся через хлебные облатки. Мы читали и перечитывали перечень лжеучений Толстого каждый раз со свежим изумлением и мысленно говорили себе: нет, на опыт всего человечества опираемся мы; будущее представляем мы, а там, наверху, сидят не только преступники, но и маньяки. И мы чувствовали наверняка, что справимся с этим сумасшедшим домом.

Старое государственное здание трещало во всех углах. Роль застрельщиков в борьбе еще играло студенчество. Гонимое нетерпением, оно стало прибегать к террористическим актам. После выстрелов Карповича и Балмашова вся ссылка встрепенулась, как бы слышав трубный сигнал тревоги. Возникли споры о тактике террора. После единичных колебаний марксистская часть ссылки высказалась против терроризма. Химия взрывчатых веществ не может заменить массы, говорили мы. Одиночки сгорят в героической борьбе, не подняв на ноги рабочий класс. Наше дело – не убийство царских министров, а революционное низвержение царизма. По этой линии пошел водораздел между социал-демократами и социалистами-революционерами. Если тюрьма была для меня временем теоретического формирования, то ссылка стала временем политического самоопределения.

Так прошло два года жизни. За это время много воды утекло под мостами Петербурга, Москвы и Варшавы. Из подполья движение начало выливаться на улицы городов. В кое-каких губерниях зашевелилось крестьянство. Социал-демократические организации возникли и в Сибири, вдоль линии железной дороги. Они вошли со мною в связь. Я писал для них воззвания и листовки. После трехлетнего перерыва я снова примкнул к активной борьбе.

Ссылные не хотели больше оставаться на своих местах. Началась эпидемия побегов. Приходилось устанавливать очереди. Почти во всяком селе встречались отдельные крестьяне, еще мальчиками подвергшиеся влиянию революционеров старшего поколения. Они тайно увозили политиков в лодке, на телеге, в санях, передавая из рук в руки. Сибирская полиция была, в сущности, так же беспомощна, как и мы. Огромные пространства были ее

союзником, но и ее врагом. Поймать бежавшего ссыльного было трудно. Больше шансов было на то, что он утонет в реке или замерзнет в тайге.

Раздавшись вширь, революционное движение оставалось, однако, разрозненным. Каждая область, каждый город вели свою особую борьбу. Царизм имел огромный перевес единства действий. Необходимость создания централизованной партии сверлила в то время многие мозги. Я написал на эту тему реферат, который в копиях ходил по колониям и усердно обсуждался. Нам казалось, что наши единомышленники в стране и в эмиграции недостаточно думают об этом вопросе. Но они думали и действовали. Летом 1902 г. я получил через Иркутск книги, в переплет которых были заделаны последние заграничные издания на тончайшей бумаге. Мы узнали, что за границей создана марксистская газета «Искра», поставившая своей задачей создание централизованной организации профессиональных революционеров, связанных железной дисциплиной действия. Пришла изданная в Женеве книжка Ленина «Что делать?», целиком посвященная тому же вопросу. Мои рукописные рефераты, газетные статьи и прокламации для Сибирского Союза сразу показались мне маленькими и захолустными пред лицом новой, грандиозной задачи. Надо было искать другого поприща. Надо было бежать.

У нас были в это время уже две девочки; младшей шел четвертый месяц. Жизнь в сибирских условиях была нелегка. Мой побег должен был возложить на Александру Львовну двойную ношу. Но она отводила этот вопрос одним словом: надо. Революционный долг покрывал для нее все другие соображения, и прежде всего личные. Она первая подала мысль о моем побеге, когда мы отдали себе отчет в новых больших задачах. Она устранила все сомнения, возникавшие на этом пути. В течение нескольких дней после побега она успешно маскировала мое отсутствие от полиции. Из-за границы я едва мог переписываться с ней. Для нее наступила затем вторая ссылка. В дальнейшем мы встречались только эпизодически. Жизнь развела нас, сохранив ненарушимо идейную связь и дружбу.

Глава X. ПЕРВЫЙ ПОБЕГ

Надвигалась осень, и угрожала распутица. Чтоб ускорить мой побег, решено было соединить две очереди в одну. Приятель-крестьянин брался вывести из Верхоленска меня вместе с Е. Г., переводчицей Маркса. Ночью в поле он укрыл нас на телеге сеном и рогожей, как кладь. В то же время, чтоб выиграть дня два у полиции, на моей квартире укрыли одеялом чучело мнимого больного. Ямщик вез нас по-сибирски, т. е. со скоростью до двадцати верст в час. Я считал спиною все ухабы и слышал сдержанные стоны соседки. Лошадей в пути сменяли раза два. Не доезжая до железной дороги, мы с попутчицей разделились, чтоб не помножать взаимно наши промахи и опасности. Я без приключений сел в вагон, куда иркутские друзья доставили мне чемодан с крахмальным бельем, галстуком и прочими атрибутами цивилизации. В руках у меня был Гомер в русских гекзаметрах Гнедича. В кармане – паспорт на имя Троцкого, которое я сам наудачу вписал, не предвидя, что оно станет моим именем на всю жизнь. Я ехал по сибирской линии на запад. Вокзальные жандармы равнодушно пропускали меня мимо себя. Рослые сибирячки выносили на станцию жареных кур и поросят, молоко в бутылках, горы печеного хлеба. Каждая станция походила на выставку сибирского изобилия. На всем протяжении пути весь вагон пил чай, заедая дешевыми сибирскими пышками. Я читал гекзаметры и мечтал о загранице. В побеге не оказалось ничего романтического: он целиком растворился в потоке чаепития.

Я остановился в Самаре, где был сосредоточен в то время внутренний, т. е. не эмигрантский, штаб «Искры». Во главе его, под конспиративной кличкой Клэр, стоял инженер Кржижановский, нынешний председатель Госплана. Он и его жена были друзьями Ленина по социалдемократической работе в Петербурге в 1894 – 5 гг. и по сибирской ссылке. Вскоре после поражения революции 1905 г. Клэр, вместе с многими тысячами других, отошел от партии и, в качестве инженера, занял очень видное место в промышленном мире. Подпольщики жаловались, что он отказывает даже в той помощи, которую оказывали ранее либералы. После перерыва в 10–12 лет Кржижановский вернулся в партию, когда она завоевала власть. Это путь очень широкого слоя интеллигентов, которые являются сейчас важнейшей опорой Сталина.

В Самаре я, так сказать, официально примкнул к организации «Искры» под данной мне Клэром конспиративной кличкой «Перо»: это была дань моим сибирским успехам журналиста. Организация «Искры» строила заново партию. Первому съезду, собравшемуся в марте 1898 г. в Минске, не удалось создать централизованную партийную организацию. Повальные аресты разбили молодой аппарат, под которым еще не было необходимой базы на местах. Революционное движение стало после того расти разрозненными очагами, сохраняя провинциальный характер. Одновременно с этим снижался его идейный уровень. В борьбе за массу социал-демократы отодвигали политические лозунги назад. Сложилось так называемое экономическое направление, которое питалось бурным торгово-промышленным и стачечным подъемом. К самому концу столетия открылся кризис, который обострил все антагонизмы в стране и дал толчок политическому движению. «Искра» повела решительную борьбу с провинциалами-«экономистами» за создание централизованной революционной партии. Главный штаб «Искры» находится за границей, обеспечивая идейную устойчивость организации, которая подбиралась из так называемых профессиональных революционеров, тесно связанных единством теории и практических задач. В то время искровцы в большинстве своем еще были интеллигенты. Они боролись за завоевание местных социал-демократических комитетов и за подготовку такого съезда партии, который обеспечил бы победу идеям и методам «Искры». Это был, так сказать, первый, черновой набросок той революционной организации, которая, развиваясь, закаляясь, наступая и отступая, связываясь все

теснее с рабочими массами и ставя перед ними все более широкие задачи, опрокинула через пятнадцать лет буржуазию и захватила власть в свои руки.

По поручению самарского бюро я посетил Харьков, Полтаву и Киев для свиданий с рядом революционеров, которые уже входили в организацию «Искры» или которых еще только предстояло завоевать. В Самару я вернулся с довольно скудными результатами: связи на юге были еще слабо налажены, в Харькове адрес оказался недействителен, в Полтаве я наткнулся на областной патриотизм. Налетом ничего сделать было нельзя, нужна была серьезная работа. Между тем Ленин, с которым самарское бюро находилось в оживленной переписке, торопил меня ехать за границу. Клэр снабдил меня деньгами на дорогу и необходимыми указаниями для перехода австрийской границы у Каменец-Подольска.

Цепь приключений, более забавных, чем трагических, началась на вокзале в Самаре. Чтоб не мозолить вторично жандармам глаза, я решил придти в самый последний момент. Занять для меня место и дожидаться меня с чемоданом должен был студент Соловьев, один из нынешних руководителей нефтесиндиката. Я мирно прогуливался в поле далеко за вокзалом, поглядывая на часы, как вдруг услышал второй звонок. Догадавшись, что мне ложно сообщили час отхода поезда, я бросился со всех ног. Соловьев, честно дожидавшийся меня в вагоне и уже на ходу выпрыгнувший с чемоданом в руках на рельсы, был окружен станционной администрацией и жандармами. Вид задыхающегося человека, примчавшегося после отхода поезда, – это был я, – привлек к себе общее внимание. Протокол, которым жандармы угрожали Соловьеву, утонул в жестоких шутках над нами обоими.

До пограничной полосы я доехал благополучно. На последней станции полицейский потребовал у меня паспорт. Я был искренне удивлен, когда он нашел сфабрикованный мною документ в полном порядке. Руководство нелегальной переправой оказалось в руках гимназиста. Ныне это видный химик, стоящий во главе одного из научных институтов советской республики. По симпатиям своим гимназист оказался социалистом-революционером. Узнав от меня, что я принадлежу к организации «Искры», он круто перешел на тон грозного обвинителя. «Известно ли вам, что в последних номерах „Искра“ ведет недостойную полемику против терроризма?» Я только собрался пуститься в принципиальный спор, как гимназист добавил гневно: «Через границу я вас не переведу!». Этот довод поразил меня своей неожиданностью. И однако же он был вполне закономерен. Через пятнадцать лет нам пришлось с оружием в руках свергать власть социалистов-революционеров. Но мне было в тот момент не до исторических перспектив. Я доказывал, что нельзя меня наказывать за статью «Искры», и, наконец, заявил, что не уйду с места, пока не получу проводника. Гимназист смягчился. «Хорошо, – сказал он, – так и быть, но передайте им там, что это в последний раз!».

Гимназист поместил меня на ночь в пустой квартире одинокого коммивояжера, который должен был вернуться только на следующий день. Смутно помню, что в запертую хозяином квартиру войти пришлось через окно. Ночью внезапный свет пробудил меня. Надо мной наклонился незнакомый маленький человек в котелке, со свечой в одной руке, с палкой – в другой. С потолка ползла на меня тень в огромном котелке. «Кто вы такой?» – спросил я с возмущением. «Это мне нравится, – ответил незнакомец трагически, – он лежит на моей кровати и спрашивает, кто я такой!». Ясно: предо мной был хозяин квартиры. Моя попытка растолковать ему, что он должен был вернуться только на следующий день, не имела никакого успеха. «Я сам знаю, когда мне возвращаться!» – ответил он не без основания.

Положение становилось запутанным. «Понимаю, – воскликнул хозяин, не переставая освещать мое лицо, – это штучки Александра. Мы с ним завтра поговорим!». Я охотно поддерживал счастливую мысль о том, что виновником всех недоразумений является отсутствующий Александр. Остаток ночи я провел у коммивояжера, который даже милостиво напоил меня чаем.

На другое утро гимназист, имевший бурное объяснение с моим хозяином, сдал меня контрабандистам местечка Броды. Весь день я провел на соломе в риге у хохла, который кормил меня арбузами. Ночью под дождем он повел меня через границу. Долго пришлось брести впотьмах, спотыкаясь. «Ну, теперь садитесь мне на спину, – сказал вожатый, – дальше вода». Я не соглашался. «Вам мокрым на ту сторону идти никак нельзя», – настаивал хохол. Пришлось совершить путешествие на спине человека и все-таки набрать в ботинки воды. Минут через пятнадцать мы сушились в еврейской избе, уже в австрийской части Брод. Там меня уверяли, что проводник нарочно завел меня в глубокую воду, чтоб больше получить. В свою очередь, хохол душевно остерегал меня на прощанье от жидов, которые любят содрать второе. Мои ресурсы действительно быстро таяли. Надо было еще ночью проехать восемь километров до станции. Труден и опасен был путь на расстоянии одного-двух километров, вдоль самой границы, по размытой дождями дороге, до шоссе. Вез меня в двухколесной тележке старый еврей-рабочий. «Когда-нибудь я на этом деле голову сложу», – бормотал он. «Почему?» – «Солдаты окликают, а если не ответишь, стреляют. Вон ихний огонек. Сегодня, на счастье, ночь еще хороша». Ночь действительно была хороша: непроницаемая, злая осенняя тьма, непрерывный дождь в лицо, глубокое чавканье грязи под ногами лошади. Мы понимались, колеса скользили, старик хриплым полупшепотом понукал лошадь, колеса вязли, легкая двуколка накренилась все больше и вдруг опрокинулась. Грязь была октябрьская, т. е. глубокая и холодная. Плашмя я ушел в нее наполовину и в довершение потерял пенсне. Но самое страшное состояло в том, что сейчас же после нашего падения раздался пронзительный крик где-то здесь же, возле нас, вопль отчаяния, мольба о помощи, мистический призыв к небесам, и было непостижимо в этой черной мокрой ночи, кому принадлежит этот таинственный голос, такой выразительный и все же не человеческий. «Он погубит нас, говорю я вам, – бормотал старик с отчаянием, – он нас погубит...» «Да что это такое?» – спросил я, затаив дыхание. «Это петух, будь он проклят, петух, мне дала его хозяйка к резнику, чтоб зарезать на субботу...» Пронзительные крики раздавались теперь через правильные промежутки времени. «Он нас погубит, тут двести шагов до поста, сейчас солдат выскочит...» «Задуйте его!..» – шипел я в бешенстве. «Кого?» – «Петуха!» – «А где я его найду? Его чем-то придавило...»

Мы оба ползали во тьме, шарили руками в грязи, дождь хлестал сверху, мы проклинали петуха и судьбу. Наконец старик освободил злосчастную жертву из-под моего одеяла. Благодарный петух сразу замолк. Мы подняли общими силами двуколку и поехали дальше. На станции я часа три сушился и чистился до прихода поезда.

После размена денег выяснилось, что у меня не хватит на проезд до места назначения, т. е. до Цюриха, где я должен был явиться к Аксельроду. Я взял билет до Вены: там видно будет. Вена поразила меня больше всего тем, что, несмотря на мое школьное знакомство с немецким языком, я не понимал никого; большинство прохожих платило мне тем же. Все же я втолковал старику в красной фуражке, что мне нужна редакция «Arbeiter-Zeitung». Я решил разъяснить самому Виктору Адлеру, вождю австрийской социал-демократии, что интересы русской революции требуют моего немедленного продвижения в Цюрих. Проводник обещал доставить меня куда нужно. Мы шли час. Оказалось, что уже два года тому назад газета переехала в другое место. Мы шли еще полчаса. Портье заявил нам, что приема нет. Мне нечем было заплатить проводнику, я был голоден, а, главное, мне нужно было в Цюрих. По лестнице спускался высокий господин малоприветливого вида. Я обратился к нему с вопросом об Адлере. «Вы знаете, какой сегодня день?» – спросил он меня строго. Я не знал. В вагоне, в повозке, у коммивояжера, в риге у хохла, в ночной борьбе с петухом я потерял счет дням. «Сегодня воскресенье!» – отчеканил высокий господин и хотел пройти мимо. «Все равно, – сказал я, – мне нужен Адлер». Тогда мой собеседник ответил мне таким тоном, как если бы он в бурю командовал батальоном: «В воскресенье доктора Адлера видеть нельзя,

говорят вам!» «Но у меня важное дело», – ответил я упрямо. «Да хоть бы ваше дело было в десять раз важнее, поняли?» Это был сам Фриц Аустерлиц, гроза собственной редакции, беседа которого, как сказал бы Гюго, состоит из одних молний. «Если бы вы даже привезли весть, – слышите? – что убит ваш царь и что у вас там началась революция, – слышите? – и это не дало бы вам права нарушить воскресный отдых доктора!» Этот господин буквально импонировал мне раскатами своего голоса. Но все же мне казалось, что он говорит вздор. Не может быть, чтоб воскресный отдых стоял выше требований революции. Я решил не сдаваться. Мне нужно было в Цюрих. Меня ждала редакция «Искры». Кроме того, я бежал из Сибири. Это тоже что-нибудь да значит. Стоя внизу лестницы и преграждая грозному собеседнику дорогу, я в конце концов добился своего. Аустерлиц сообщил мне необходимый адрес. В сопровождении того же проводника я отправился на квартиру к Адлеру.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.